

МАРИЯ КРЕСТОВСКАЯ

РАННИЕ ГРОЗЫ

Мария Крестовская

Ранние грозы

1886

Крестовская М.

Ранние грозы / М. Крестовская — 1886

Повесть «Ранние грозы» – произведение русской писательницы XIX века Марии Всеволодовны Крестовской, дочери поэта и прозаика В. В. Крестовского. Семнадцатилетняя девушка Марья выходит замуж за тридцатилетнего чиновника. Ее новая семья богата, Марья может позволить себе любые развлечения и дорогие покупки, но девушке не хватает одного – любви. Спустя пятнадцать лет брака Марья устает от такой жизни и заводит молодого любовника, и тем самым, возможно, разрушает свою семью и жизнь своей дочери.

Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	72

Мария Крестовская

Ранние грозы

Часть первая

I

В кабинете настала тишина, та мучительная, тоскливая тишина, которая всегда следует за каким-нибудь тяжелым объяснением.

Муж и жена продолжали еще сидеть, по-видимому, спокойно, и в комнате слышалось только нервное дыхание Марьи Сергеевны.

Итак, все кончено!

Все, чем жили столько лет, к чему привыкли за эти долгие годы, что когда-то любили...

В руках у Марьи Сергеевны был тонкий кружевной платок, и она нервно теребила и рвала его кружева похолодевшими пальцами.

Оставалось только уйти... Но почему-то именно в эту минуту ей было тяжело это сделать, и она продолжала бесцельно сидеть на низкой турецкой оттоманке, на которую опустилась, войдя к мужу для того, чтобы переговорить с ним в последний раз.

И вот они переговорили. И как просто все вышло, гораздо легче, нежели она ожидала...

Марья Сергеевна устало отвела глаза от догоравшего камина и искоса взглянула на мужа.

Он сидел за своим письменным столом с таким же бесстрастным и холодным лицом, как и всегда... Массивная бронзовая лампа под зеленым абажуром, озаряла стол и разбросанные на нем бумаги, освещала его лицо каким-то зеленоватым светом, придававшим ему еще большую бледность.

Марья Сергеевна пытливо взглянула в это лицо, точно желая прочесть в нем что-то, но не прочла ничего.

Даже глаза, опущенные вниз на бумаги, ничего не выдавали; только тонкая рука его, ярко освещенная лампой, как-то судорожно барабанила по столу.

И Марья Сергеевна машинально разглядывала так хорошо знакомую ей руку, на которой в эту минуту она с необычайной ясностью видела каждую жилку, морщину и даже густую тень темных волос, уходившую в глубь рукава и становившуюся к локтю все темнее. А тишина и точно вынужденное, выжидающее молчание становились все тягостнее.

Она еще раз вскинула глаза на мужа и нетерпеливо передернула плечами. Ее всегда сердила невозможность и неумение разгадывать душу своего мужа по его лицу.

Наконец, лениво, точно делая над собой усилие, она приподнялась с оттоманки и глубоко вздохнула, не то от усталости, не то от невольной грусти, и тоскливо окинула взглядом весь кабинет, как бы прощаясь с ним, как бы невольно жалея, что была в нем в последний раз, и вдруг ее глаза встретились с другими, смотревшими прямо на нее со стены кабинета из золоченой рамы.

Марья Сергеевна разом вздрогнула, схватившись рукой за сердце.

Вот оно, то, что еще не обговорено между ними. Марья Сергеевна не хотела сегодня касаться этого предмета, по-женски откладывая самое тяжкое до другого, хотя бы и непродолжительного времени. Но теперь она почувствовала, что не в силах тянуть эту пытку...

Муж, подняв голову, взглянул в ту сторону, куда глядела она, и ее ужас точно отразился и на нем; молча, с каким-то болезненным выражением, смотрел он вместе с женою на улыбающуюся им из рамы детскую головку.

Кругленькое личико с обстриженными по-русски темными волосами плутовато улыбалось им, точно подсмеиваясь над ними.

– Наташа! – проговорила наконец Марья Сергеевна чуть слышно, с видимым спазмом в горле...

Павел Петрович отвел глаза от портрета дочери и еще угрюмее опустил голову. Он чувствовал на себе взгляд жены.

Она глядела на него молча, спрашивая его одними глазами, и, не говоря сама ни слова, казалось, требовала его ответа.

Кончено?! Еще несколько секунд назад она с облегченной душой думала, что все уже кончено, все выяснено! Да разве выяснено хоть что-нибудь, когда не выяснено самое главное, самое мучительное?!

А если он не отдаст ей Наташу!

Все права, и законные, и нравственные, на его стороне, но она с самого рождения своей девочки привыкла считать ее своею неотъемлемою собственностью, своим телом, своею душой, таким могучим дополнением ее собственного «я», без которого немислимо существование ее самой.

И вот на это существо, на этого «ее» ребенка другой человек, который отныне делался ей совершенно чужим и посторонним, имеет одинаковое право с нею! И даже большее! Она, жена его, бросает его теперь, после пятнадцати лет совместной жизни, уходит от него, потому что полюбила другого человека. Значит, в глазах света и перед ее собственной совестью, прав муж, а не она, и, следовательно, все права на дочь остаются за ним и отнимаются у нее.

Она крепко прижала холодные как лед руки к своей груди, точно инстинктивно хотела остановить болезненно учащенные удары сердца.

«Неужели он отнимет? Неужели отнимет?» – стучало у нее в голове.

Марья Сергеевна бессильно опустилась на стул.

Боже мой, боже мой, но о чем же она думала раньше? Все время она делала выбор между мужем и тем, кого любила, – и только теперь в первый раз ей пришлось в голову, что, может быть, выбор придется сделать не между нелюбимым мужем и боготворимым человеком, а между ее собственным ребенком и этим человеком!

Вглядываясь в лицо мужа, она чувствовала скорее инстинктом, нежели сознанием, что он не уступит ей дочь легко и без борьбы, и, тоскливо ломая руки, не сводила с него глаз.

– Павел Петрович... не отнимайте...

Слова путались и застревали у нее в горле, ей вдруг стало страшно выговорить всю фразу: что, если он ответит: «Нет!»

И с этим «нет» будет убито все, вычеркнется самая дорогая ей страница жизни! О, быть не может! Он добр, она готова умолять, унижаться перед ним, но она не выйдет из этого дома, пока он не уступит ей Наташу.

Марья Сергеевна вдруг с судорожным рыданием вскочила со стула и бросилась перед мужем на колени.

– Отдайте, отдайте ее мне... ради прошлого, отдайте!..

Она страстно ловила его руки и прижималась к ним залитым слезами лицом. Павел Петрович растерянно и сконфуженно вскочил со своего кресла и старался поднять ее, но она не вставала, впиваясь в него глазами и повторяя только: «Отдайте, отдайте».

– Ради бога, Марья Сергеевна... Встаньте... К чему это, встаньте же.

Его нервы были уже расшатаны последними днями, он чувствовал, что ее истерический припадок заражал и его. Что-то душило его, и он, с непривычною ему злобой, вырвался от нее и насильно поднял ее с коленей.

– Сядьте! – коротко приказал он.

Марья Сергеевна, рыдая, повиновалась ему и, уронив голову на стол, судорожно всхлипывала и вздрагивала всем телом. Павел Петрович нервной, точно разбитой походкой отошел от стола и прошелся несколько раз по кабинету, искоса угрюмо взглядывая то на жену, то на портрет дочери.

Наконец, вздохнув всей грудью и точно почувствовав облегчение, он снова подошел к столу и налил стакан воды. Его рука еще дрожала, но лицо уже опять приняло спокойное, бесстрастное выражение. Он подал стакан жене.

Она слегка приподняла голову и отхлебнула несколько глотков. Рыдания ее затихали, и она медленно успокаивалась.

Павел Петрович опять тихо зашагал по кабинету и, подождав, пока всхлипывания жены совсем затихли, подошел к ней с серьезным и строгим лицом.

– Можете вы меня теперь выслушать?

В его всегда ровном голосе слышалась легкая дрожь. Марья Сергеевна молча кивнула ему с тем мутным, без всякого выражения, взглядом, который всегда появляется после истерики, и бессознательно комкала свой мокрый от слез носовой платок.

Павел Петрович, видимо старавшийся быть сдержанным, начал довольно громко и внятно:

– То, о чем вы сейчас просили, настолько серьезно, что решить вопрос сразу невозможно. Я был так слеп, – он горько усмехнулся, – так мало ожидал чего-нибудь подобного! Но... но...

Он тряхнул головой и провел своею тонкой красивой рукой по высокому лбу, на котором поминутно выступали мелкие капли холодного пота, что случалось с ним только в минуты самого сильного волнения.

– Но речь не обо мне и даже не о вас... С этими вопросами покончено. Я уже сказал вам, что вы свободны и что я не считаю себя вправе посягать на вашу свободу. Что же касается дочери, то... Я остаюсь так одинок...

Он остановился на мгновение, и в его голосе опять что-то дрогнуло. Марья Сергеевна невольно подняла на него глаза... Она чувствовала себя бесконечно виноватой перед ним, и в душе ей было глубоко жаль его. Но он как будто понял ее сожаление и, не желая его, пересилил себя, заговорив слегка надменным и даже злобным голосом, точно этим он хотел спрятать от нее свою душу и свои чувства:

– Я разом теряю и жену, и семью... Вы не теряете ничего – вы только меняете одного на другого, старое – на новое и к тому же новое – более дорогое для вас, значит, и лучшее...

Марья Сергеевна сделала легкое движение, точно хотела прервать его, но он заметил это и заговорил еще холоднее:

– Вы опять будете любить и будете любимы... У вас опять будет и семья, и счастье, и даже, быть может, еще дети.

Марья Сергеевна вздрогнула и опустила глаза...

– Да, и дети, – настойчиво и жестко продолжал он. – Значит, судите сами, по совести, чья же Наташа по праву? Кому с нынешнего дня должно быть тяжелее?

Он остановился на минуту напротив нее и взглянул ей прямо в глаза, как бы ожидая ответа. Но она угрюмо молчала и только еще ниже опустила голову. Тогда он опять зашагал по кабинету.

– Я знаю, что я имею все права оставить ее у себя. Но...

Марья Сергеевна радостно подняла голову и быстро вскинула на него вдруг засиявшие глаза.

– Но... Наташа, к сожалению, не трехлетний ребенок, как там! – и он тихо вздохнул, взглянув на портрет смеющейся дочери. – А потому вряд ли мы имеем право решать за нее...

Павел Петрович остановился, точно медлил, обдумывая что-то; жена, порывисто дыша, слегка даже привстала со стула, подавшись вперед, и, тяжело опершись рукой на край стола, глядела на него внимательными глазами...

– Наташе уже четырнадцатый год, у нее уже начал складываться свой характер, свои желания, своя жизнь, и распорядиться этой жизнью, соображая ее только с нашими чувствами, будет с нашей стороны и нечестно, да и бесполезно. Рано ли, поздно ли, нам, вероятно, пришлось бы раскаяться в своей ошибке.

Он замолчал. Марья Сергеевна все еще стояла в своей напряженной позе, робко вслушиваясь в его слова, но не вполне усваивая их смысл.

– Ну, что же? – проговорила она наконец, видя, что он не продолжает.

– Дело в том, – Павел Петрович как будто смутился немного, – видите ли... Я не знаю, известно ли ей...

Он не договорил, но Марья Сергеевна поняла его. В сущности, она не знала и сама, что и сколько известно ее девочке, но она чувствовала уже давно по изменившимся отношениям, по бесконечным мелочам, что дочь инстинктивно о многом догадывается и понимает...

– То есть что? – бессознательно спросила она, отвечая больше на свои мысли, чем на его вопрос.

Павел Петрович нетерпеливо передернул плечами. Неужели у нее настолько нет такта, чтобы не задавать ему такого тяжелого вопроса. Что!.. Как будто он может знать лучше нее.

– Я думаю, что она многое понимает; конечно, я не могла быть с нею откровенною...

Она покраснела и начала опять щипать кружева своего платка.

Он прервал ее:

– Знает она, что мы разъезжаемся?

– Я ничего не говорила ей об этом, но мне кажется, что она догадывается об этом.

– Да? – Он задумчиво посмотрел на портрет дочери. – В таком случае она должна это узнать сегодня же, наверное, и тогда... И тогда она сама решит, с кем ей остаться... В этом деле ее голос должен быть главным и решающим, потому что оно ближе всех касается именно ее...

Марья Сергеевна измученно опустила на стул. Она не знала, радоваться решению мужа или нет... За последнее время между ней и обожавшей ее прежде дочерью установились какие-то странные отношения, и девочка начала как будто охладевать немного в своей страстной любви к матери и даже чуждаться ее.

И в эту минуту, когда выбор должен быть сделан окончательно, эти отношения, под влиянием страха, казались Марье Сергеевне еще худшими, нежели были на самом деле. Она чувствовала бы себя намного более спокойной и счастливой, если бы могла, помимо всякого участия дочери в этом деле, просто взять и увезти ее с собой.

Павел Петрович подошел к столу и позвонил.

Марья Сергеевна вздрогнула.

– Что вы хотите делать? – тревожно спросила она.

– Послать за Наташей.

– Как, сейчас?!

Это «сейчас», которым решится все и после которого уже, действительно, все кончится, вдруг охватило ее всю таким ужасом и тревогой, что она готова была умолять мужа об отсрочке решения хоть на несколько еще дней.

Потерять, быть может, и последнюю даже надежду сейчас же она была не в силах.

Ей вдруг вспомнилось, что она еще сегодня утром сделала дочери за что-то выговор, быть может, это рассердило Наташу, быть может, она и теперь еще сердится на нее... Ей невольно вспомнились глаза дочери, которые с каждым днем глядели на нее все холоднее... О, если бы впереди было хоть несколько еще дней! И с чисто женской хитростью Марья Сергеевна придумывала, как за эти дни ей задобрить дочь и войти с ней в прежние отношения.

Но Павел Петрович точно угадал ее мысли и понял этот молящий взгляд ее прекрасных глаз, когда-то так любимых им.

– Лучше покончить разом.

Вошла горничная с вопросом: «Что прикажете?»

– Попросите сюда барышню. Скажите, что я прошу ее прийти сейчас же.

Горничная вышла.

Марья Сергеевна вдруг опять глухо зарыдала и бессильно упала в кресло.

II

Феня, шурша накрахмаленными юбками своего розового ситцевого платья, вошла в комнату барышни, которую все еще, по старой привычке, продолжали называть детской.

Барышня сидела у маленького столика, низко наклонив над книгой темно-русую головку, причесанную по-гимназически в одну косу с черным бантом.

Лампа слегка освещала ее профиль с совершенно теми же чертами, что и у отца, только более тонкими, по-женски смягченными и не потерявшими еще детского, слегка округленного контура.

– Пожалуйте к папаше.

Наташа испуганно вздрогнула, как человек, которого разом оторвали от занятий.

– Что?

– К папаше пожалуйте.

Она все еще не совсем пришла в себя и, казалось, мало понимала, что говорила ей Феня. Слова «к папаше» удивили ее: он в такие часы редко отрывал ее от занятий – для этого должно было случиться что-нибудь особенное.

– К папаше? – повторила она с удивлением. – Зачем же?

Феня слегка усмехнулась на вопрос барышни.

– Уж этого не знаю-с, мне не сказывали – позвонили только и велели позвать вас.

Наташа посмотрела в лицо Фени. Какое-то неясное предчувствие шевелилось в ее душе.

Феня помолчала с секунду и вдруг тихо добавила, точно поясняя этим что-то:

– И барыня там.

– Мама!

Внезапный, жуткий холод охватил Наташу.

– Плачут-с... – совсем уже таинственно шепнула Феня.

Теперь Наташа смутно начала угадывать что-то тяжелое, страшное.

– Ну хорошо, иди; я сейчас.

Она подождала, пока Феня вышла; ей не хотелось, чтобы горничная что-нибудь поняла по ее испугу. Когда дверь за Феней затворилась, Наташа тревожно поднялась со стула.

«Вот оно, началось...»

И по лицу ее вдруг разлился совершенно детский страх, и ей очень захотелось заплакать.

– Господи, Господи! – вдруг зашептала она, быстро и порывисто крестясь маленьким крестиком, висевшим у нее на шее на тоненькой золотой цепочке, совсем так же, с тем же тревожным выражением, с каким крестилась, бывало, в гимназии во время экзаменов, когда ее «вызы вали».

– Господи, Господи, помоги мне, помоги!.. – шептала она, прижимая к горячим губам маленький крестик и взглядывая полными слез глазами в угол комнаты, где над ее постелью теплилась лампадка перед иконой Божией Матери...

Пройдя через комнату матери в гостиную и большую залу, куда выходил кабинет отца, Наташа на мгновение остановилась перед его дверью.

Сердце ее сильно билось, и она стояла, пугливо прислушиваясь, у двери, боясь и не решаясь сразу отворить ее.

В кабинете все было тихо, по-видимому, «они» молчат... Верно, ждут ее!

– О Господи, Господи! – Она перекрестилась в последний раз и резко отворила дверь.

Отогнутая тяжелая портьера тихо зашуршала. Марья Сергеевна рванулась к дочери, но Павел Петрович остановил ее легким движением руки.

Наташа, вся бледная, серьезным взглядом окинула мать и отца.

Да, да, это то, о чем она думала...

На мгновение в кабинете опять настала мучительная тишина, никто не начинал первый, точно каждый бессознательно старался оттянуть хоть на мгновение страшный вопрос. Павел Петрович, с угрюмым лицом и согнувшись всем корпусом, как будто страшная тяжесть давила его, сидел опять в своем большом кресле у письменного стола.

– Видишь ли, Наташа, мы позвали тебя... – начал он, несколько запинаясь и не глядя ни на дочь, ни на жену. – Обстоятельства складываются так, что мы... с Марьей Сергеевной должны... жить порознь, – договорил он твердо и резко. – Ты знаешь, Наташа, что мы оба любим тебя, и нам одинаково трудно расстаться с тобой, но... Один из нас двоих все-таки должен с тобой расстаться...

Голос его, несмотря на видимые усилия, слегка дрожал и прерывался. Он мельком, стараясь побороть себя, взглянул на дочь. Она стояла все так же молча, придерживаясь рукой за кресло, и только по ее побледневшему личику покатались вдруг крупные слезы.

– Если бы тебе было пять-шесть лет, мы бы решили это без тебя. Но теперь ты уже не ребенок, у которого привязанности почти бессознательны... И потому... ты должна решить сама, с кем... с кем ты хочешь остаться...

И он замолчал, остановив пристальный взгляд на дочери.

Марья Сергеевна тоже впиалась в нее жадными страдающими глазами.

Теперь от этой девочки в коротком гимназическом платье и черном переднике, почти ребенка, зависела участь двух людей: и каждый из них ждал с мучительной тревогой и болью, что она скажет. Но она молчала, и ни одна складка не шевелилась на ее платье; казалось, она вся застыла, и только по ее побледневшему и вдруг точно состарившемуся лицу продолжали беспомощно, по-детски, катиться крупные слезы.

Прошла почти минута, мучительная и бесконечная в этом напряженном ожидании...

Павел Петрович слышал чьи-то глухие удары сердца и машинально прислушивался к ним.

Наконец он точно опомнился и, встряхнув головой, провел рукой по лбу.

– Быть может, Наташа, – заговорил он тихо, – ты подумаешь и скажешь завтра, послезавтра... Это зависит от тебя, дитя мое...

Марья Сергеевна благодарно взглянула на него; пусть лучше еще несколько дней надежды, чем конец разом. Каждый из них со страхом ожидал, что дочь выберет другого, и в то же время в глубине души каждого жила невольная надежда, что дочь останется именно с ним.

– Лучше подождать! – повторил как-то робко и неуверенно Павел Петрович.

Наташа тихо покачала головой.

Она так много уже думала об этом, так боялась и страдала, ожидая этого момента, что в душе давно уже решила, что ей делать и с кем оставаться. Если она молчала и медлила, то не потому, что не знала, что ей сказать, а только сознавая, что своим ответом одному из страстно любимых ею, самых дорогих для нее существ она причинит столько горя...

«Подождать! О нет, нет, пускай лучше все кончится разом. Все равно...»

Она растерянно и тоскливо оглянулась по сторонам, точно ища себе в чем-то поддержки, и в этот миг встретилась глазами с отцом. И вдруг в ней разом что-то словно оборвалось, и с мучительным, отчаянным воплем она кинулась к нему всем своим трепещущим и вздраги-

вающим от рыданий тельцем. Страстно обнимая его, она целовала его голову, руки, глаза и обливала его слезами...

Он понял все.

Она бросилась к тому, кого оставляла. И этими нежными ласками она точно молила о прощении себе, точно хотела заставить его понять, как горячо она его любит, как тяжело ей бросать его... И, рыдая, она прижималась к нему, как будто хотела смягчить тот страшный удар, который сама же ему наносила...

III

Павел Петрович увел дочь в ее комнату и помог ей успокоиться. Наташа тихо всхлипывала, прижимаясь горячими губами к его рукам, и изредка поднимала на него глаза. Марья Сергеевна растерянно стояла в стороне от мужа.

Ее дочь уходила вместе с ней, но в сердце этой дочери не нашлось для нее ни одного ласкового взгляда, ни одного теплого слова, и мать ревниво следила за ласками дочери к отцу, точно мысленно считала их.

В эту минуту ей показалось, что она больше бы хотела быть на месте мужа, и только сознание, что эти ласки временные и последние, что потом Наташа уже всецело будет принадлежать ей одной, слегка успокаивало и утешало ее.

Она хотела бы сейчас же броситься к дочери, обнять ее, прижать к своей груди и целовать ее всю, как целовала, бывало, маленькую, за то, что Наташа выбрала ее и оставалась с нею, но что-то удерживало Марью Сергеевну, словно ласки ее и благодарность казались ей неуместными.

Но все-таки она сделала робкую, неуверенную попытку и, подойдя к дочери ближе, хотела взять ее за руки, но Наташа, заметив ее, опять зарыдала сильнее.

Павел Петрович, искоса взглянув на жену, встал и проговорил тихо, чтобы Наташа не слышала его:

– Ее лучше оставить одну, она скоро успокоится, не говорите с ней...

Он чувствовал в дочери свою натуру и знал по себе, что самое лучшее в тяжелые минуты – быть одному. Он еще раз обнял плачущую дочь, заботливо перекрестил ее, поцеловал и, сказав: «Ложись спать, деточка, и успокойся, все устроится...», вышел из комнаты вместе с женой.

Для того чтобы выйти в другие комнаты, ему необходимо было пройти через спальню и будуар жены, и это было ему тяжело. Марья Сергеевна поняла его чувство и тихо шла за ним с виноватым и смущенным выражением лица.

Он хотел пройти скорее, не останавливаясь ни на мгновение. Тут все напоминало ему былое; ему хотелось бы закрыть глаза, чтобы не видеть ничего, вызывавшего в его душе столько воспоминаний, а между тем что-то почти невольно заставляло его бросать торопливые и быстрые взгляды на окружающие его, так хорошо знакомые ему предметы. Он успел уже подойти к двери и раскрыть ее голубую шелковую портьеру, как Марья Сергеевна вдруг тихо окликнула его:

– Павел Петрович!..

Он быстро обернулся к ней и окинул ее удивленным и вопрошающим взглядом.

Марья Сергеевна сознавала, что этот человек был с ней гораздо великодушнее, нежели она ожидала, нежели она могла ожидать... Четырнадцать лет жизни с ним промелькнули в ее памяти... Спокойные, безмятежные и даже счастливые...

И в эту последнюю минуту ей невольно хотелось сказать ему... Что именно, она и сама не знала, но что-то теплое, хорошее, задушевное... Сказать, как сильно благодарна она ему и за прошлое, и за последнюю его жертву... Но то, что в душе ее чувствовалось так просто, она не

умела выразить словами... Всякое слово казалось ей пошло, неуместно и совсем не выражало того, что она чувствовала... И она замолчала, глядя куда-то в пространство, мимо лица мужа, точно боясь встретиться с ним глазами.

Павел Петрович повторил не расслышанный ею вопрос:

– Что вам угодно?

– Нет, нет, ничего!

Она смущенно сознавала, что не сумеет передать ему словами то, что думала, что так хотела бы сказать ему.

– Я хотела... Хотела... Поблагодарить вас за все, за все... – быстро и как-то по-детски начала она, все избегая его взгляда. – Это так трудно выразить... Я не знаю... Но, – она вдруг быстро подошла к нему и, взяв его за руку, крепко сжала ее, – я знаю, что никогда не буду уже так счастлива... так спокойна, как была с вами... Вы хороший... хороший человек...

Павел Петрович тихо отвел ее руку от своей; он не хотел ни ее благодарности, ни сожаления, ни сочувствия и, главное, не хотел ни на одну секунду поддаться слабости. Ее задушевный голос, теплое прикосновение ее маленькой, когда-то так любимой руки невольно трогали его... Пока она говорила, он сухо и молча глядел на нее своими холодными глазами, в которых не видно было ни горя, ни любви, ни страдания... Глядел и не видел ее.

Вот голубой фонарик, который он привез ей лет шесть назад на Пасху; вот маленький диванчик, на котором он, бывало, так любил отдохнуть у нее после рабочего дня; вот резная жардиньерка, они вместе покупали ее...

– Все уже кончено, – холодно заговорил он, – и бесполезно поднимать снова слишком тяжелые разговоры... Ни вам, ни мне не будет от этого легче... Помните одно – я требую развода. Вы должны выйти замуж... для дочери... Иначе ей нельзя будет оставаться у вас... Если он любит вас, – Павел Петрович горько усмехнулся, – то, конечно, он и сам будет рад честным образом покончить все недоразумения.

Павел Петрович уже хотел уйти, но жена стояла перед ним такая жалкая и убитая, что ему вдруг инстинктивно, каким-то точно предчувствием, стало глубоко жаль ее, и он добавил уже гораздо мягче и теплее:

– Во всяком случае, я от души буду рад, если вы будете счастливы; дай Бог, чтобы... чтобы вам никогда не пришлось ни раскаяться, ни пожалеть.

Голубая портьера, тихо колыхнувшись, мягко упала за ним и отделила его от нее.

Марья Сергеевна тоскливо глядела вслед мужу.

– Ни пожалеть, ни раскаяться, – повторила она его слова. – Бог весть...

Тупая, но щемящая тоска томила ее.

Она машинально опустилась на мягкий диванчик и долго просидела так – без слов, без движения, без мысли. Потом, точно очнувшись, вздрогнула, поднялась с дивана и осторожно прошла в комнату дочери.

Огонь уже был потушен, и синяя лампада мерцала в углу, разливая дрожащий полусвет в комнате.

Марья Сергеевна постояла несколько секунд, тревожно прислушиваясь к дыханию дочери.

– Ты спишь, Наташа? – тихо окликнула она.

Ответа не было; только огонек в лампадке тихо вспыхивал и мерк. Марья Сергеевна подошла к кровати и опустилась перед ней на колени.

В тени ей не видно было лица девочки, и только контуры ее тела мягко обрисовывались под белым пикейным одеялом.

Марья Сергеевна тихо прильнула пересохшими губами к горячему лбу Наташи. Ей хотелось бы, чтобы девочка проснулась и взглянула на нее, сказала бы ей что-нибудь... Тоска,

боль и какой-то страх, беспричинный и неясный, все сильнее терзали ее, и ей хотелось, рыдая, молить о прощении себе у этого чистого существа.

– Наташа... Наташа... – тихо окликнула она, но девочка спокойно спала с серьезным и строгим лицом.

Мать задумчиво глядела на нее несколько минут, точно что-то вспоминая, что-то предчувствуя...

Наконец она тихо приподнялась с коленей, долго крестила дочь и, поцеловав ее в последний раз, осторожно вышла из комнаты и заперла за собой дверь.

IV

Лампадка мерцала, и дрожащие тени ползали, мерцая, по полу и по стенам детской.

В одном уголке приютилась детская кроватка с длинным кисейным пологом, вся беленькая, чистая и какая-то таинственно выделявшаяся в полумраке.

В этой кроватке Наташа спала еще до поступления своего в гимназию и ни за что не хотела расставаться с ней и переходить в «большую», хотя из этой давно уже выросла. Ей нравилось, всей уютно скорчившись и поджав колени к самой груди, свернуться клубочком и сладко засыпать в ней, закрытой со всех сторон прозрачной кисеей.

Еще совсем, бывало, маленькой девочкой она укладывала на ночь вместе с собой и свою любимую куклу и, крепко прижимая ее к груди, лежала с широко раскрытыми глазами, боязливо вглядываясь в глубину комнаты, казавшейся ей сквозь легкий туман полога и в слабом мерцании лампы какою-то фантастической и сказочной.

Наташа никогда не была особенно резва и шаловлива. В ее детской душе с самого раннего возраста устроился какой-то совершенно особенный внутренний мирок. Вместо того чтобы бегать в пятнашки и играть в мяч, она целыми часами засиживалась над сказками и книгами с картинками, вся покрасневшая, с блестящими глазами, боязливо вздрагивая от каждого шороха. В этих картинках Наташа своим детским воображением умудрялась отыскивать гораздо больше, чем они давали. Маленькие звери, птицы и деревья, изображенные там, принимали в ее фантазиях гигантские размеры и превращались в живую действительность. Маленькие пальмочки и азалии, стоявшие на окнах детской, начинали казаться ей великанами. Желтый паркет превращался в целую песчаную пустыню, где маленький домашний котенок оказывался вдруг тигром, делавшим страшные скачки и злобно искавшим себе добычу. И девочка, входя в игру, с ужасом прятала и спасала от него свою любимую куклу. Птички на обоях вдруг оживали для нее и перелетали, порхая, щебеча и звонко распевая, с ветки на ветку; она начинала тихонечко пошелкивать языком, подделываясь под птичье щебетанье, и страшно рычала вместо котенка, не узнавая и пугаясь собственного голоса. Котенок, расшалившись вместе с ней и чувствуя, что с ним играют, начинал грациозно заигрывать со своей госпожой, прыгая за ней по стульям и диванам и ошетиливаясь на нее с грозным видом. В детской поднималась страшная возня. Котенок прыгал и кувыркался, а госпожа, как сумасшедшая, бегала и, спасаясь от него, бросалась во все углы, залезала даже под кровать и диван, отчаянно взвизгивая и крича.

На шум отворялась дверь, и входила Марья Сергеевна. Наташа бросалась к ней с громким криком.

– Тигр!.. Тигр, мамочка!.. – кричала она, заливаясь испуганным и взвизгивающим хохотом и пряча голову в материнские колени.

Марья Сергеевна сразу не понимает, в чем дело.

– Да ведь это Васька! Котенок! – говорит со снисходительной улыбкой Марья Сергеевна, той улыбкой взрослого человека, которая невольно появляется у больших, когда они говорят с маленькими. – Посмотри же!

Марья Сергеевна берет котенка и подносит его маленькое, пушистое, теплое извивающееся тельце к самому личику дочери. Но Наташа испугано взвизгивает и еще глубже прячет свой носик в складки материнского платья.

Девочка вся покраснелась, глазенки ее блещут и горят, а на лбу и около шеи выступили даже влажные капельки пота. Вся она трепещет и вздрагивает от хохота, барахтается и даже брыкает ногами. Марья Сергеевна видит, что дочка совсем расшалилась, что теперь уже не успокоишь ее сразу и, целуя, поднимает ее и уносит с собой.

– Нет, мама, я сама, сама!

Девочка хочет соскользнуть с рук матери, вырываясь от нее, но Марья Сергеевна крепко держит ее и с торжеством вносит в столовую.

– Вот вам, папа, ваша буйная дочка! – говорит она, смеясь счастливыми глазами, и опускает дочку на колени к мужу.

Наташа быстро соскакивает. Ей ужасно совестно, она вся покраснела и готова даже расплакаться, хотя в то же время ей и смешно, и она сама не знает – плакать ей или смеяться.

– Ну, садись, садись, девчурка! – говорит Павел Петрович, придвигая ей стул.

Наташа вдруг стихает и принимает солидный вид взрослой барышни. Она степенно снимает салфетку с тарелки и с серьезным видом начинает откусывать маленькими кусочками нижнюю корочку хлеба, «как папа».

Ей уже скоро шесть лет, и потому в спокойные минуты она искренне считает себя «большой девочкой».

Ей это очень нравится, и, когда ее спрашивают, сколько ей лет, она со строгой важностью объявляет:

– О, я уже большая, мне седьмой год.

Она ни за что не скажет «мне шесть», а непременно «седьмой»; это как-то важнее, и потому ей нельзя нанести большего оскорбления, чем взять ее на руки «точно маленькую».

– Ну, что поддельвала сегодня, девчурка? – начинает расспрашивать ее отец.

Отца она немножко дичится; в душе они очень любят друг друга, но говорить между собой не умеют.

Павел Петрович несколько раз принимался говорить с ней, поддельваясь под ее тон, даже не раз принимал участие в ее играх; только из этого ничего не выходило: девочка отвечала неохотно и смущенно, а к его играм относилась с каким-то недоверием.

– Отчего же ты не хочешь играть с папой? – спрашивала, бывало, Марья Сергеевна.

– Да я, мамочка, не умею.

– Как же это так, не умеешь? Ведь со мной же умеешь, и с няней умеешь, и даже одна...

– Так ведь то, мамочка, в самом деле...

– То есть как это – в самом деле? – недоумевает слегка Марья Сергеевна.

– Ну, да, когда я с тобой играю, или с няней, или одна... ну, как это?.. Я не знаю...

Девочка краснеет и запинается с виноватым и смущенным лицом, не умея подыскать точного слова.

– Тогда мы по-настоящему играем...

– А с папой разве не по-настоящему?

Наташа чуть не плачет, она не умеет выразить ясно эту тонкую разницу.

Отец серьезен, всегда занят и на вид немного холоден. Наташа привыкла видеть его всегда за бумагами и слышать: «Наташа, тише, не шуми, папа занимается!» И потому видеть его играющим ей как-то странно и смешно. Она улыбается, когда он начинает бегать и прыгать вокруг стола и представлять медведя, чтобы позабавить ее, но улыбается так, как улыбаются взрослые на игры детей. Взрослые знают, что дети «только играют», то есть проделывают все это нарочно, а Наташа знает, что отец именно тем и портит игру, что «нарочно играет». Она

чувствует, что эта игра не увлекает его, как увлекается она сама своими играми, и это невольно расхолаживает ее.

Ей даже делается почему-то совестно, тогда как с матерью она возится целыми часами, бегает, кувыркается, визжит и всей душой входит в игру.

После обеда Павел Петрович, поцеловав жену и дочь, уходит к себе в кабинет заниматься.

Наташа бежит вместе с матерью в комнату Марьи Сергеевны. Эту комнатку они обе очень любят. Она такая вся хорошенькая, уютная, мягкая... Марья Сергеевна садится за какое-нибудь вышивание перед рабочим столиком на маленький диван. Лампа с белым колпаком обливает ярким светом только доску стола да пестрые узоры на канве в белых, с голубыми жилками, руках Марьи Сергеевны. Остальная комната тонет в мягком полусвете.

Наташа притащит на этот диванчик все свои книги и любимых кукол. Ей хочется, чтобы все были вместе, и она, плутовато косясь на мать, забирается за ее спину в самый уголок дивана с ногами, чтобы не так страшно было. Тут ей так хорошо, тепло, уютно, и, грызя свои леденцы и яблоки, она вполне счастлива своим детским нетребовательным счастьем.

Котенок Васька также вдруг откуда-то появляется и всегда вспрыгнет на диван так тихо и неожиданно, что Марья Сергеевна и Наташа невольно вскрикнут; высоко подняв свой пушистый хвост, он начинает ласкаться к ним, громко мурлыча и назойливо подставляя свою полохатую мордочку с розовым носом прямо к их лицам.

– Пусти, Васютка, – говорит Марья Сергеевна, а Наташа тихо смеется и щекочет ему за ухом.

Васютка, выбрав себе, по-видимому, уютное местечко, укладывается наконец и, свернувшись клубочком и лениво прищуривая на огонь глаза, продолжает блаженно мурлыкать. Он каждый раз норовит присоседиться где-нибудь на плече или на коленях Наташи.

– Ах, мама! – вскрикивает, как будто с недовольным видом, Наташа. – Он опять ко мне на шею забрался!

– Ну, стони его! – говорит Марья Сергеевна.

Но Наташе, в сущности, это очень нравится, она не хочет стонять его. Он такой теплый и так смешно мурлычет у нее под самым ухом.

– Ну, уж пускай его! – снисходительно разрешает она.

– Ну, а чего же ты утром боялась его? – вспоминает Марья Сергеевна.

– Да он утром, мамочка, тигр был, страшный такой.

– Ах ты, девчурка глупая! – смеется мать.

Наташа заваливается совсем за спину матери; из-за рук Марьи Сергеевны видно только с одной стороны беспокойные ножки, а с другой – смеющееся плутоватое личико девочки.

– Ну, мамочка, рассказывай что-нибудь! – уговаривает она мать просящим тоненьким голоском.

– Что же тебе рассказать?

– Что-нибудь, мамочка, милая, ну, пожалуйста... Ну, хоть старое что-нибудь.

Наташа страстно любит эти вечерние рассказы матери.

Марья Сергеевна, начавшая со сказок, перешла мало-помалу в своих рассказах к живым людям, к биографиям своих бабушек, тетюшек, сестер и к воспоминаниям собственного детства. Ей самой нравится перебирать эти давние странички своей жизни. От них веет чем-то таким далеким, почти позабытым и наполовину уже исчезнувшим, но все-таки милым и интересным для нее: особенно годы молодости вспоминаются всегда такими свежими, отрадными, счастливыми, хотя в то время они, быть может, совсем и не были так счастливы и отрадны.

Чем больше рассказывает Марья Сергеевна, тем и вспоминается все больше, все яснее. Кажется, вся жизнь, шаг за шагом, картинка за картинкой, бежит перед нею и вновь переживается ею.

Наташа слушает с потемневшими из-за расширившихся зрачков глазами, с ярко разгоревшимся лицом. Ее воображение страшно работает, люди и картины плывут перед ней совсем ясными, живыми. Иногда она прерывает каким-нибудь вопросом:

– А тетя Лиза с вами тогда жила?

– Тети Лизы тогда еще совсем не было! Наташа поражается.

– Совсе-ем не было? – протяжно удивляется она. – А где же она была?

– Она еще не родилась в то время.

Наташа несколько мгновений молча смотрит на мать, точно о чем-то думает.

– А дядя Петя был?

– Петя был; он уже учился тогда в гимназии и только на лето приезжал к нам. Такой кургузый был, краснощекий и перед нами, девочками, ужасно важничал своим мундиром! А раз он нашалил что-то, и с него в наказание сняли мундир, и он целую неделю ходил в курточке и панталонах. То-то уж мы над ним смеялись – за все его важничанье ему отплатили.

Наташа задумчиво смотрит куда-то вдаль.

– Как странно, – тихо говорит она, – дядя Петя, и вдруг в курточке, тети Лизы совсем не было, а теперь есть... Тебя, мама, сначала тоже не было?

– Конечно, мой ангел.

– И папы? И бабушки?

– И папы, и бабушки...

– А было когда-нибудь, что совсем, совсем никого не было?

– Да, девочка, сначала и земли не было, и людей не было, Бог потом все сотворил; вот будешь учиться, все узнаешь.

– Где же все это, мамочка, было?

Часто Наташа задает такие вопросы, на которые Марья Сергеевна не всегда находит ответы.

– Ну, слушай дальше!

Но у Наташи уже образовался свой ход мысли, и вопросы интересуют ее теперь больше рассказов о тете и бабушке.

– Ну, а вот дедушка был, а теперь его нет! – восклицает она, по-видимому все еще занятая своими мыслями.

– Дедушка умер и пошел к Богу!

– К Богу, это на небо, значит?

– На небо.

– Мама, как же говорят: Бог далеко и высоко; ведь Он же на небе, а ведь небо видно, а если что далеко, так нельзя видеть. Как же это?

– Бог везде, милая, и на небе, и на земле. Не прерывай же меня, если хочешь слушать.

– Ну, хорошо, хорошо, не буду, рассказывай, мамочка, дальше.

Но через минуту она опять прерывает мать:

– Мама, на небе никогда никто не был?

– Никто.

– И никак нельзя попасть?

– При жизни нельзя, а после смерти все, кто праведно жили, там будут.

– Там, мамочка, верно, очень хорошо. Ты, мамочка, не знаешь, как там? – задумчиво моргая глазами, говорит она.

– Этого никто, дитя мое, не знает.

– Ну, хоть немножечко не знаешь ли?

– Да слушай же, Наташа, а то я перестану.

– Нет, нет, мамочка, я не буду больше, ни одного словечка не буду.

Марья Сергеевна опять начинает прерванный рассказ, Наташа мало-помалу входит в него и снова интересуется бабушками и тетушками, но вдруг она начинает хохотать.

– Чего ты? – удивляется Марья Сергеевна.

Но Наташа заливается раскатистым хохотом и даже не может говорить.

– Я, мамочка, все думала, какая это бабушка маленькая была, и вдруг она показалась мне!.. Смешная, смешная такая, лицо старое, как теперь, и очки также, а платице коротенькое, и сама маленькая, и панталончики...

Марья Сергеевна невольно улыбается: бабушка в таком виде кажется и ей ужасно смешной...

– И вдруг, мамочка, ее мама на нее рассердится и велит ее высечь!

И Наташе так живо представляется картина, как секут бабушку, что она начинает даже захлебываться от хохота. Марье Сергеевне и самой смешно, но она старается внушить дочери, что над старшими смеяться грешно.

– Как нехорошо, Наташа! – говорит она, стараясь сказать строгим голосом. – Я рассержусь на тебя.

– Ну, мамочка, мамуся, милая, не надо, ведь это же смешно, правда, ведь смешно? Да?!

– Ну, полно, полно.

Но через мгновение она стихает и опять задумывается о чем-то.

– Мамочка, ведь все люди должны быть сначала маленькими?

– Конечно все.

– Ни одного не было прямо большого.

– Ни одного!

– А потом стариками? Да?

– Да, если доживут!

На минуту воцаряется тишина. Наташа о чем-то думает. Марья Сергеевна считает крестики своего узора. Наташа сбила ее и со счета, и с нити рассказа.

– Я вдруг старуха, а бабушка маленькая – как странно! – задумчиво начинает Наташа опять. – Мама, а какая я буду старухой? А? Посмотри, такая? Да? Похожа?

Она морщит всю свою мордочку и выдвигает вперед нижнюю губу, стараясь изобразить на своем лице старческую физиономию.

– Похоже?... Мамочка, смотри! – говорит она, шепелявя и тряся головой...

Марья Сергеевна не выдерживает и, взяв ее головку в обе руки, нежно целует ее в сморщенный носик. Наташа обхватывает ее руками и прижимается к ней.

– Ты тоже, мамочка, старухой будешь?

– Тоже!

– Неправда! Ты красавица, ты всегда красавицей будешь! Да, да! Скажи да, мамочка! Пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты старухой была.

– Ну да, да! Я еще не скоро старухой буду, не бойся!

– Нет, совсем не надо!

– Совсем нельзя.

Наташа внимательно и задумчиво рассматривает лицо матери, лаская его руками и целуя ее глаза, лоб, щеки и рот.

– Ну, хорошо, будь старухой, только не скоро, очень не скоро; вот что, вместе со мной, когда я буду старухой, тогда и ты, хорошо? Ах, мамочка, как это смешно будет: мы будем две бабушки, старенькие, седенькие такие...

Марья Сергеевна смеется:

– Ох, уж действительно, это очень не скоро! Когда ты бабушкой-то будешь, меня и на свете тогда не будет.

– Как не будет? – огорчается Наташа. – А где же ты будешь?

- Где? Умру, как дедушка.
- Mamочка!

И Наташа с громким криком бросается к матери и обхватывает ее руками, прижимаясь вся к ней, точно боясь, что Марья Сергеевна сейчас же уйдет от нее. Смерть матери так страшно пугает ее, кажется ей такую ужасною и невероятною, что она тут же начинает плакать. Марья Сергеевна, встревожившись ее слезами, нежно утешает ее, но девочка, прижимаясь к ней ближе, горько всхлипывает:

- Я не хочу... Не надо... Mamочка, милая... Пожалуйста... не надо...
- Да нет, глупенькая; ведь это не скоро еще будет...
- Совсем, совсем... не надо... я не хочу...
- Ну, хорошо, хорошо, мордочка моя, совсем не умру.
- Мы вместе... вместе, в одну минуту... пожалуйста, мамочка... Да?... Хорошо?
- Ну хорошо, давай вместе помирать!

И она улыбается своей девочке с любовной тихой лаской и нежно качает ее на руках, точно баюкает.

Мало-помалу Наташа успокаивается. Марья Сергеевна хочет достать ей в утешение из комода грушу, но после подобных предположений Наташа уже не отпускает ее и не отходит от нее ни на минуту. Она бежит в течение целого вечера, шаг за шагом, вслед за матерью, держась даже за ее платье, точно боится, что Марья Сергеевна умрет сейчас же. И после подобных разговоров они становятся еще нежнее друг к другу.

И мать, и дочь страстно любят эти вечера, для них это самое лучшее время дня, и они обе с нетерпением дожидаются вечера, но по-разному. Наташа – нетерпеливо и сознательно мечтая о них, Марья Сергеевна – спокойно и скорее бессознательно...

Темы беседы никогда не истощаются. С каждым годом рассказы и воспоминания подходят все ближе к переживаемой эпохе, и Марья Сергеевна с удовольствием думает, что, когда Наташе минет семнадцать-восемнадцать лет, воспоминания разрастутся, разговоры станут еще задушевнее. Эта привычка – делиться с дочерью всем, посвящать ее в каждый маленький уголок своей жизни – дает возможность и самой Марье Сергеевне как бы еще раз пережить всю жизнь.

V

Наташа быстро развивалась; у нее никогда не было подруг и товарок-однолеток, ее единственной, но зато постоянной подругой была ее мать. Эта дружба со взрослым человеком невольно развила ее быстрее и приучила чувствовать и думать по-взрослому раньше, чем в большинстве случаев начинают другие дети.

Когда Наташа поступила в гимназию, то их образ жизни отчасти переменился. По вечерам больше рассказывала сама Наташа, а не Марья Сергеевна. Множество новых лиц и впечатлений охватили девочку. Ее все интересовало и занимало. В течение дня она замечала мельчайшие подробности своей новой гимназической жизни и вечером спешила делиться ими с матерью. Потом они вместе садились за уроки. В отношении Марьи Сергеевны Наташа была бессознательно деспоткой. В своей любви к матери она доходила до полного обожания, но зато и не хотела ни на минуту расставаться с ней.

Куда бы мать ни шла, что бы она ни делала, Наташа непременно хотела «вместе». Даже свои вечерние уроки она хотела готовить непременно вместе. «Mamочка, мы вместе», – просила она требовательным тоном избалованного ребенка, который знает наперед, что ему не откажут. Марья Сергеевна, действительно, почти ни в чем не могла отказать ей; и если бы к девочке не перешла по наследству кротость матери и спокойная твердость отца, то мать, вероятно, скоро бы испортила ребенка.

Наташа была для нее маленьким кумиром, ее жизнью, ее прелестным деспотом, подчиняться которому ей, в сущности, даже нравилось.

Женщины не умеют и почти не могут жить без этих «слепых» привязанностей, из которых они делают себе богов и деспотов. Им нужно боготворить и подчиняться, и если они не сделают себе такого кумира из мужа, то делают его из ребенка, иногда даже из братьев или отца, смотря по тому, кто есть и кого жизнь ставит в более или менее подходящие для этого условия.

Жизнь Марьи Сергеевны почти с первых дней молодости сложилась не только спокойно и безмятежно, но даже немного монотонно. В семнадцать лет она вышла замуж за Павла Петровича, которому тогда было около тридцати пяти. Была ли она влюблена в своего будущего мужа, это она понимала довольно смутно, и в то время дать себе в этом отчет не сумела бы. Но он ей нравился и, что порой имеет еще большее значение, нравился окружавшим ее. Ей все говорили, что она делает прекрасную партию. Павел Петрович имел хорошее положение и средства, был еще молод, очень представительен и пользовался отличной репутацией.

Если бы судьба столкнула его с более пожившей женщиной, чем была тогда его жена, то, вероятно, такая женщина полюбила бы его глубже, нежели была способна на то семнадцатилетняя девочка. У женщины, много пережившей и страдавшей в прошлом, рождается и более мощное чувство, чем у наивной девочки. К тому же для каждого возраста женщины есть свой излюбленный тип мужчины, а Павел Петрович, с его холодной сдержанностью, спокойной рассудительностью и немоложавой наружностью, всего менее мог увлечь воображение своей семнадцатилетней невесты.

Будь у нее натура более пылкая, Манечка, вероятно, не замедлила бы влюбиться хотя бы в своего кузена, красивого кавалергарда, с которым так любила танцевать. Но молоденькая Манечка до такой степени еще не сформировалась, что ее натуру даже предсказать было очень трудно. Она вся была еще в будущем.

Во всяком случае, в то время это была миленькая, очень благовоспитанная барышня, скорее застенчивая, чем бойкая. Не очень худенькая, но и не полная, с хорошо посаженной на не округлившись, еще полудетских плечах, грациозной головкой, больше миловидной, чем красивой. Хороши были только глаза: большие, темные, вечно переливающиеся, какого-то неопределенного цвета, но чаще всего великолепного синего отлива. Эти глаза сияли детской чистотой и несложностью ясной, непорочной мысли...

Марья Сергеевна была сиротой и жила у своего опекуна-дяди, а потому даже и родственно не была ни к кому особенно горячо привязана. Она, конечно, любила родню дяди, но не так, как любила бы родную мать или отца.

Выйдя замуж, она инстинктом поняла, какого надежного, безгранично, хотя и спокойно, любящего друга приобрела она в муже. Чем больше узнавала она его душу, ум, характер, тем больше начинала ценить и уважать его. Через год она была уверена, что более умного, великодушного и честного человека трудно найти. Раз она могла это понять, влюбиться в него, как часто влюбляются молоденькие жены в своих мужей уже по выходе замуж, было бы нетрудно, найди она в нем самом больше для этого причин. Но обстоятельства сложились иначе. Павел Петрович был прекрасный муж и плохой любовник. В нем не было ни тех порывов, которые так нравятся женщинам, ни даже особенной страстности в характере.

Если бы он, хоть шутя, увлекся бы другой, в ней, наверное, проснулась бы вся страсть влюбленной женщины. Женщинам нравится страдание, причиняемое им любовью, и чем мужчина больше причиняет им этих страданий, тем больше и страстнее любят они его. Но Павел Петрович для подобных отношений был и слишком хороший муж, и слишком занятой человек. Ему и в голову не приходило, что такой натуре, как его жена, необходимы были время от времени сильные впечатления, и что чем дольше будет дремать эта, в сущности, страстная натура, тем с большей силой прорвется она когда-нибудь наружу.

Давай Павел Петрович своей жене хоть временами возможность этих ощущений посредством ревности к ней, ревности к нему, временного охлаждения и просыпающихся потом с новой силой порывов страстной любви, вся сила чувства, дремавшего в Марье Сергеевне, разменялась бы на эти мелочи, и они благополучно миновали бы опасное время молодости, жаждающей бурь, и дожили бы, наконец, до того предела, когда ничто уже неопасно, потому что мало-помалу все страсти замирают и успокаиваются в человеке, уступая дорогу старости.

К сожалению, Павел Петрович заботился только о том, чтобы окружить жену комфортом и полным спокойствием, которого желал и искал сам, – он пережил уже свои бури.

В глубине души сама Марья Сергеевна всего менее подозревала, что ей нужно нечто подобное. Она находила своего мужа лучшим из людей и сознавала, что имеет все: и прекрасного мужа, и полное семейное счастье, и хорошие, вполне обеспеченные средства, словом, все, что требуется для беспечальной жизни, а потому совсем искренне считала себя одной из счастливейших женщин, и скажи ей кто-нибудь, что для обеспечения и продолжения ее семейного счастья нужно еще то-то и то-то, она первая вознегодовала бы и назвала бы это ложью.

Зато весь запас нежности и страстности она перенесла на ребенка.

В своем тихом и безмятежном спокойствии Марья Сергеевна с годами расцветала все пышнее, красивее, и к тридцати годам миленькая девушка превратилась постепенно в красавицу. В чем именно заключалась ее красота, сказать было трудно. Она вся расцвела ровно, красиво, изящно.

За последнее время Марья Сергеевна инстинктом женщины начала чувствовать в словах, взглядах и ухаживаниях мужчин что-то совсем новое... Иногда, поймав на себе жадный взгляд мужских глаз, она вспыхивала и невольным движением поправляла тонкое кружево на груди бального платья. Эти взгляды если не пугали и не смущали ее, то, во всяком случае, как-то странно удивляли и тревожили.

Да и в самой себе она стала замечать что-то новое, странное. Часто, взглянув в зеркало, она несколько секунд не сводила с него любопытных синих глаз. Иногда, причесываясь или одеваясь перед зеркалом, Марья Сергеевна с довольной и слегка удивленной улыбкой всматривалась в свое лицо. Она смутно припоминала себя худенькой девушкой в кисейном платьице и почти не узнавала себя в этой красивой фигуре, отражавшейся в ее зеркале.

Мало обращавшая прежде внимания на костюмы, она, с некоторых пор, стала вдруг очень любить нарядные туалеты. Чем красивее становилась она, тем больше проявлялось в ней почти бессознательное желание быть еще интереснее и лучше. Хорошенькая женщина всегда немножко влюблена в свое лицо.

В дни молодости Марья Сергеевна не очень любила выезжать; она чувствовала себя для этого слишком застенчивой и молчаливой. Дома ей нравилось больше; тут ей было свободнее и легче. Бальные костюмы стесняли ее, и она не умела даже придумывать их. К ее гладенькой головке простые домашние платья шли гораздо больше. Выезжая иногда в бальном туалете с открытыми шеей и руками, она чувствовала себя такой неловкой, точно связанной и всегда старалась спрятаться где-нибудь в кружке старушек. Но с годами у нее появились навык и вкус. Мало-помалу она приучилась не теряться в большом обществе, и хотя не перестала быть все еще молчаливою, но на лице ее, вместо детски-застенчивого, явилось спокойное, несколько горделивое выражение светской женщины, привыкшей уже и к толпе, и к умению держать себя перед этой толпой. Бальные туалеты уже не стесняли ее – напротив, чувствуя себя в них особенно интересной, она даже слегка оживлялась и делалась развязнее. Раз она явилась на вечер в прелестном белом платье с желтыми розами у кружевного корсажа. Оно очень шло ей, и все ей говорили, что она замечательно интересна; многие даже не сразу узнавали ее. Это забавляло ее. И она улыбалась довольной улыбкой красивой женщины, сознающей, что она нравится и что на нее поминутно обращаются восхищенные взгляды.

Женщины любят возбуждать внимание. С этих пор она стала относиться с большей внимательностью к своим нарядам. Ей нравилось быть интересной, и она уже внимательнее выбирала цвета и фасоны платьев, шляп и тому подобных вещей. Постепенно у нее развился вкус, она изучила свое лицо и фигуру и прекрасно знала, что ей больше идет. Даже домашние платья она отделявала с большей обдуманностью и тщательностью.

Иногда, оставаясь дома, но, одевшись более удачно и находя себя особенно красивой и изящной, Марья Сергеевна невольно чувствовала сожаление (присущее исключительно женщинам), что ее никто не видит. Если женщина чувствует себя очень интересной, а любоваться ею некому, ей всегда делается немножко досадно и как-то скучно. Тогда невольно рождается желание «показаться», очутиться где-нибудь в толпе, все равно – на улице ли, в театре ли, на вечере ли – только в обществе, где бы она чувствовала, что на нее смотрят и любят ее. Правда, иногда они довольствуются только одним ценителем, наряжаются только для одного и дорожат мнением только этого одного. Но тогда этот один заменяет для них все общество.

Марья Сергеевна была еще одной из серьезных женщин; вопросы выездов, туалетов, общества, развивающиеся у некоторых из ее сестер до грандиозных размеров, ей не казались еще очень важными и необходимыми.

Но, во-первых, у нее было слишком много свободного времени. Наташа поступила в гимназию, и ребенок уже не мог наполнять своей жизнью весь досуг матери. Часы, которые она привыкла проводить с дочерью, оставались теперь свободными, и порой она не знала, чем их заполнить. Заняться хозяйством? Но хозяйство давно уже было заведено раз навсегда, задержек в деньгах не было, волноваться, мудрить и выпутываться из разных мелких житейских дразг не приходилось.

Шить, вязать, читать...

Первое она не особенно любила, притом оно оставляло полный простор мысли, а значит, и скуке. Читать Марья Сергеевна всегда любила, только чтение с некоторых пор как-то странно действовало на нее. Часто говорилось о многом, чего она никогда не испытала и не знала. Иногда страстная любовь какой-нибудь героини, описание какой-нибудь сцены точно заражали ее самое любопытством и желанием чего-то, никогда еще не бывшего в ее собственной жизни.

Марья Сергеевна никогда не любила. Не любила той страстью, сполна захватывающей любовью, запас и потребность в которой всегда таятся в глубине души каждой женщины.

Читая теперь что-нибудь, слушая иногда рассказы и признания собственных подруг, Марья Сергеевна испытывала какое-то странное чувство... точно зависть. С ней самой никогда не бывало ничего подобного... Она еще никогда не слышала страстного шепота любви... Такой любви, какую ей приходилось наблюдать у других, о которой она инстинктивно догадывалась и которой бессознательно желала. Раз, читая какую-то вещь, она вдруг на половине страницы отбросила книгу с какой-то злостью в самый угол комнаты и порывисто вскочила с дивана. Лицо ее горело горячими пятнами, и сердце усиленно билось. Она подошла к зеркалу, прикладывая холодные пальцы рук к пылающим щекам, и остановилась перед ним, глядя на себя рассеянным взглядом. Несколько мгновений она стояла молча, ломая свои холодные руки, грудь ее тяжело поднималась, сердце билось все чаще и чаще, в горле щекотал какой-то сухой, судорожный спазм, и вдруг, разом опустившись на маленький табуретик перед туалетом, она беспомощно уронила руки на стол и, прикинув к ним воспаленной головой, разразилась неудержимым рыданием...

О чем она рыдала? Что ей нужно, чего недостает?.. Она и сама не знала, ее томила какая-то безотчетная тоска. Когда она наконец успокоилась, ей стало совестно этих беспричинных, глупых слез. Ее смущали и заботили эти странные порывы, и, усердно стараясь подавить их в себе, она тщательно скрывала их от мужа и дочери. Ей было неприятно, что кто-нибудь из них мог заметить это, она даже чувствовала себя точно в чем-то виновной перед ними, хотя

определить суть своей вины не могла. Во всяком случае, она решилась бороться сама с собой и не поддаваться этим «глупостям».

Павел Петрович ничего подобного не замечал. Его дела на службе шли прекрасно, повышение за повышением, но зато прибавлялось и работы. Заниматься приходилось не только днем, но и по вечерам; иногда он просиживал за своими бумагами до глубокой ночи. Внутренний мир жены с его душевной работой и ломкой ускользал от его внимания.

Он видел только, что Мари всегда весела, спокойна, прекрасно одета и, по-видимому, очень счастлива. Придавать же особенное значение ярким пятнам на ее щеках и рассеянному выражению странно блестящих глаз ему не приходило даже и в голову.

Преобразование Марьи Сергеевны из застенчивой домоседки в светскую женщину свершилось так постепенно, что его не заметил не только Павел Петрович, но даже и сама Марья Сергеевна, часто с недоумением старавшаяся припомнить, когда в ней «это» началось.

Одна Наташа угадывала что-то новое в своей матери, но и то больше детским чутьем, чем сознанием.

– Мапочка, ты сегодня опять куда-нибудь едешь? – спрашивала она за обедом.

– Да, в оперу.

Сначала Наташа выражала очень мало удовольствия по поводу частых выездов матери, но мало-помалу и она к ним привыкла.

– Ну хорошо, я буду смотреть, как ты станешь одеваться. Хорошо?

Для Наташи смотреть, как одевается мама, было «ужасным» наслаждением. Она забиралась на большое кресло подле туалета и, усаживаясь там с ногами, обхватывала руками согнутые колени и, прижавшись к ним подбородком, смотрела на мать восхищенными глазами, внимательно следя в то же время и за горничной, помогавшей Марье Сергеевне одеваться. Изредка она кидала с заботливым видом отрывистые фразы:

– Тюник криво... Цветок лучше налево... Поправь вон тот локон...

Наконец туалет заканчивался. Наташа соскакивала с кресла и, схватив канделябры со свечами, делала матери последний «инспекторский» смотр.

– Отлично, мамочка! – радостно восхищалась она. – Восторг, как хорошо, мамочка, красота моя, прелесть!

Ей ужасно хотелось бы расцеловать матери каждый «кусочек», как она говорила, но, боясь смять прическу и платье, она выдерживала характер и ограничивалась только прыганьем и хлопаньем в ладоши.

Марья Сергеевна молча стояла перед ней, застегивая перчатки, нарядная, благоухающая, прелестная и невольно улыбающаяся и своей дочери, и своей красоте.

Феня приносила мягкий темно-пунцовый шарф и пушистую, на белом меху, ротонду. Вместе с Наташей они старательно укутывали Марью Сергеевну. Тогда начиналось прощание. Им всегда было трудно сразу расстаться друг с другом.

– Ну, будь же умница, девчурка! – говорила каждый раз по старой привычке Марья Сергеевна своей дочери. – Если захочешь кушать, спроси у Фени, там, в буфете, я оставила тебе рябчика и сладкого пирога.

В случае если Павел Петрович был дома и не сопровождал жену, она каждый раз заходила проститься к нему в кабинет.

Наташа выбегала вслед за матерью в переднюю.

– Кланяйся Ольге Владимировне и Кате.

– Хорошо, деточка!

– Ну, прощай, мамуличка моя, смотри, пожалуйста, не распахивайся в карете и не опускай окна, да смотри, мамочка, не выходи потная на лестницу, опять горло прихватит! – наказывала она с видом заботливой маменьки, отпускающей дочку на бал.

– Ну, прощай, Христос с тобой!

– Прощай, веселись хорошенько.

Феня отворяла дверь на ярко освещенную парадную лестницу, и Наташа выбежала на площадку.

– Наташа, уйди, простудишься!

– Ах, нет, нет, тут тепло!

Она свешивалась через перила и глядела вслед матери, пока та спускалась.

– Mamочка, смотри, зайди, как вернешься! – кричала она, перегибаясь вниз. – Хорошо? Пожалуйста, я ждать буду.

Они кивали, улыбаясь, друг другу до тех пор, пока массивная дубовая дверь не захлопывалась за Марьей Сергеевной с протяжным стоном.

После этого Наташа разом принимала серьезный вид взрослой барышни и озабоченно произносила:

– Ну-с, теперь заниматься!

Они вместе с Феней входили в переднюю.

Феня запирала дверь на крюк.

– Кажется, ничего не забыли... Веер, перчатки, бинокль, платок... – перебирала Наташа, озабоченно считая на пальцах. – Все, кажется?

Феня удостоверенно, что все взято.

Облегченно вздохнув, Наташа отправлялась в свою комнату за уроки.

Она была уже третий год в гимназии, и занятий прибавлялось с каждым годом. Училась Наташа очень прилежно, она была третья ученица, но ей непременно хотелось сделаться первой. По-своему она была очень честолюбива и горда и потому почти весь вечер просиживала за учебниками.

В этом она была очень похожа на отца. Он – к службе, она – к занятиям относились почти с одинаковой серьезностью и занимались ими с тем же упорством, вниманием и сосредоточенностью. В девять часов она выходила в столовую пить чай и встречалась там с Павлом Петровичем, если он был дома. С тех пор как Марья Сергеевна стала чаще выезжать, Наташа проводила с отцом гораздо больше времени, чем прежде, и постепенно они сближались все больше и больше. По вечерам она часто приходила к нему в кабинет заниматься своими уроками. Ей очень нравилась эта строгая тишина отцовского кабинета, заставленного массивной, немного тяжелой мебелью. Наташа усаживалась напротив отца за огромным письменным столом, углубляясь в книгу так же сосредоточенно, как он в свои бумаги, и они сидели друг против друга с деловым видом, очень похожие один на другого, и только изредка, поднимая голову, обменивались торопливой улыбкой. Если она не понимала чего-нибудь в своих дробях или склонениях, он подходил и, склонившись над ее темно-русой головкой, объяснял ей.

Когда Наташа рано кончала свои уроки, он давал ей сортировать или читать вслух некоторые его бумаги и газеты. Ей это ужасно нравилось, и она всегда торопилась покончить с уроками. Прежняя детская неловкость и натянутость в их отношениях совершенно исчезли. Он уже не старался подделываться под ее тон, не предлагал ей играть в прятки и не представлял больше ни медведей, ни буку. Они говорили друг с другом товарищеским тоном взрослых людей, и это нравилось и тому, и другому. Она рассказывала ему о своей гимназии, учителях, уроках; он сам не заметил, как начал делиться с ней рассказами о своей службе. Она читала ему газеты и доклады, перечитывала и сортировала его бумаги, и мало-помалу он привык говорить с ней о своих делах.

Ее раннее развитие порой даже удивляло его. Когда ему случалось увлечься и заговорить с ней о слишком уж не детских вопросах, Наташа выслушивала его с таким серьезным видом, делала порой такие дельные замечания, что он совсем забывал, что говорит с девочкой, которой едва минуло четырнадцать лет. Павел Петрович, скорее замкнутый, чем общительный со всеми другими, с Наташей был откровеннее, чем даже сознавал это сам.

Все свои разговоры они вели только наедине вечером в кабинете или в столовой за чаем.

Марья Сергеевна даже и не подозревала об оригинальных отношениях, завязавшихся между мужем и дочерью. С ней Павел Петрович почти никогда не говорил ни о делах, ни о службе. Не то чтобы он считал жену неспособной понимать это, но так как этого не случилось вначале, то заводить с ней такие разговоры теперь ему не приходило уже в голову. Дочь в этом отношении была ему как-то ближе. Он чувствовал в ней свою натуру, свой склад ума, свой характер, и это невольно сближало его с ней.

Наташа так искренне интересовалась всем, что интересовало его, так быстро и легко усваивала себе его мысли, вникала каким-то замечательно развитым в ней чутьем в его сферу и занятия, что в конце концов поняла более или менее весь ход его дел. Она всегда знала, какой доклад был на очереди, когда назначено было заседание и по каким вопросам, каких изменений и перемен ожидали в министерстве. Знала по именам всех министров и главных начальников и даже, разговаривая с отцом, невольно перенимала и его выражения, и различные специальные термины.

Ее всегда немножко шокировало полнейшее неведение Марьи Сергеевны по этим вопросам, и, если той случалось перепутать что-нибудь, когда разговор заходил о чем-нибудь подобном, Наташе так и хотелось прийти ей на помощь.

Раз она даже не удержалась. К Марье Сергеевне приехала одна знакомая со своим мужем. Разговор коснулся одного из новых назначений. Марья Сергеевна слышала что-то, но помнила довольно смутно.

– Ах да! – воскликнула она. – Говорят, Н. назначается министром юстиции!

– О мама! – Наташа даже вся вспыхнула. – Министр юстиции и не думает уходить! Н. назначается на место С. членом консультации при министерстве!

Несколько мгновений все трое молча, с удивлением глядели на эту девочку в коротеньком платье, с таким ardent рассуждающую о смене министров.

– Это совершенно верно, – заговорил наконец муж гостыи с улыбкой, – но откуда наша маленькая барышня знает это?

Барышня вдруг вся покраснела и молчала с каким-то виноватым и сконфуженным видом. Она в первый раз проговорила о своем знании по этой части, и это испугало и рассердило ее. Наташа бесконечно дорожила доверием отца и в душе очень гордилась и этим доверием, и своим посвящением в «государственные дела».

Зато с этих пор она стала держать себя еще осторожнее, когда ей случалось слушать подобные разговоры.

Наташа ужасно любила пить чай по вечерам вдвоем с отцом. Столовая была такая уютная, вся залитая светом от спускавшейся с потолка над столом большой лампы. В углу топился, потрескивая и вспыхивая порой красным пламенем, камин. Наташа садилась за самовар и, принимая вид взрослой, начинала заваривать чай и перетирать чашки. За чаем отец с дочерью болтали всегда с особенным удовольствием. Иногда Павел Петрович смешил дочь, рассказывая ей что-нибудь, и теперь это удавалось ему гораздо лучше, чем прежде, когда он представлял ей буку. Наташа заливалась звонким смехом, запрокидывая голову, хохотала до слез и от восторга даже начинала болтать под столом ногами, как маленькая. Но в большинстве случаев Павел Петрович был чем-нибудь озабочен и чувствовал себя утомленным.

– Ну, что у вас нового? – спрашивала Наташа, намазывая тартинки и с аппетитом принимаясь за них.

Павел Петрович сначала отвечал односложно и даже неохотно, если был не в духе, но постепенно увлекался и начинал пересказывать даже разные мелочи.

Наташа внимательно и с любопытством слушала его.

– А у нас в гимназии опять неприятности! – воскликнула она, вспоминая вдруг.

– А! Что такое?

– Целая история вышла.

И она с мельчайшими подробностями пересказывает ему историю. Ее дела, уроки и гимназия интересовали его так же, как ее – его служба, доклады и министры.

После чая они расходились по своим комнатам. Наташа брала книгу и укладывалась в постель. Она нарочно ложилась раньше, чтобы подольше почитать в постели, что ей очень нравилось. Читала она вообще очень много. В одиннадцать часов она тушила свечу и, свернувшись как-нибудь поудобнее, сладко засыпала. Но едва раздавался звонок матери, Наташа тотчас просыпалась и, приподнимаясь на постели, с нетерпением глядела на дверь, в которую всегда входила Марья Сергеевна.

Легкие торопливые шаги женской походки слышались в гостиной, столовой и, наконец, в будуаре. Дверь несколько отворялась, пропуская Марью Сергеевну, и Наташа с восторженным криком бросалась к ней:

– Мамочка!

Мамочка входила, вся еще душистая, точно пропитанная атмосферой бальной залы, но в смятом уже слегка туалете, и горячо обнимала дочь.

– Ты что не спишь? – спрашивала она шепотом, точно боясь кого-то разбудить.

– Я спала, только услышала звонок и проснулась... Мамочка, милая!..

Марья Сергеевна опускалась на кровать подле дочери, и они сидели так несколько мгновений, нежно прижимаясь одна к другой и молча целуясь. Дрожащий огонек синей лампадки обливал мягким и трепетным светом эту белую комнатку и их тесно прижавшиеся друг к другу фигуры. Это были их лучшие минуты, им обоим было так хорошо: какое-то особенное чувство наполняло и умиляло их обеих. С отцом, как ни любила его Наташа, она никогда не испытывала таких минут полного наслаждения и даже некоторого блаженства...

И, точно боясь нарушить чудное состояние, они начинали говорить шепотом.

– Тебе было весело, да? – шептала Наташа, влюбленно смотря на мать.

Марья Сергеевна молча кивала, отвечая дочери тем же полным нежности и любви взглядом своих прелестных глаз.

Наташа еще теснее прижималась к ней.

– А ты думала обо мне?

Тот же молчаливый кивок и та же ласковая улыбка.

– И за мазуркой, как я просила, да?.. Ах, мамочка, милая... Ненаглядная, красавица моя...

И она бросалась к матери, обвивала ее открытую шею своими руками и осыпала ее лицо, глаза, грудь и руки поцелуями.

Наташа была положительно влюблена в свою красавицу-мать. Она, как и в пять лет, оставалась для нее все тем же лучезарным кумиром, предметом страстного обожания.

Марья Сергеевна всегда привозила дочери с бала какие-нибудь фрукты. Это был маленький знак внимания с ее стороны, как бы молчаливое, но наглядное доказательство, что она и там не забывала о дочери.

Наташа понимала это, и, если Марья Сергеевна ничего не привозила, Наташа обижалась и раз даже горячо проплакала всю ночь.

– Ты забыла! – говорила она с упреком.

Но когда все обстояло благополучно, то, нацеловавшись вдоволь, Марья Сергеевна поднималась наконец с постели и несколько отстраняла дочь.

– Ну, прощай, спи спокойно! – говорила она, крестя Наташу.

Но Наташа начинала протестовать:

– Нет, нет, нет, мамочка, я с тобой... Минуточку только, минуточку, пожалуйста, ведь мы совсем и не говорили еще, ты даже ничего не рассказала мне.

И она соскакивала с постели, закутывалась в одеяло и, всунув голые ножки в туфли, бежала, слегка подпрыгивая и шлепая валившимися с ног туфлями, в комнату Марьи Сергеевны вслед за нею.

– Ты простудишься, Наташа!

– Да нет, ведь я всегда так... Расскажи мне, с кем ты танцевала – монстр?

Марья Сергеевна с помощью горничной начинала раздеваться и рассказывать дочери, как провела вечер.

– А Надя Войтова была?

– Была.

– В чем она была?

– Очень мило, платье из сюра, сгéте, с маленьким букетом фиалок.

– Шло ей? Она много танцевала? А Анна Павловна, с сестрой была или одна?

Наташа плотнее закутывалась в одеяло и, слегка вздрагивая от свежего воздуха в комнате, ела дюшес, стараясь не высовывать руки из-под облегавшего ее одеяла. Ее очень интересовали все эти подробности, и она совсем оживлялась.

– Все же ты, наверное, лучше всех была. Я уверена! – восклицала она.

Но Марья Сергеевна чувствовала себя уже утомленной. Она торопливо раздевалась и устало опускалась на постель.

– Ну, иди, детка, пора уже.

Наташа укутывала ее плотнее одеялом.

– Теперь, пожалуй, можно и удалиться, – снисходительно соглашалась она, смеясь. – Прощайте-с! Спите спокойно! Желаю вам видеть во сне все самое хорошее.

Они опять целовались, крестя друг друга, и наконец Наташа убежала, все так же шлепая туфлями и подпрыгивая на ходу, в свою комнату...

VI

Но с некоторых пор их отношения немного изменились и, что хуже всего, продолжали изменяться с каждым днем... Сначала это было незаметно, и в чем, собственно, заключалась перемена, было едва уловимо, но чем дальше, тем яснее обозначалось это, и не столько в серьезной стороне их привязанности, сколько в бесчисленных мелочах, в которых такие перемены чувствуются всего яснее.

Между матерью и дочерью пробежала черная кошка, оцарапала их, и маленькая царапинка не только не заживала, но делалась с каждым днем все глубже и больнее...

Обе они хорошо помнили тот день, когда «это» началось.

Случилось это в конце апреля. Наташа, начавшая уже держать экзамены и только что благополучно сдавшая один из них, вернулась домой из гимназии и, вся еще радостно-взволнованная и раскрасневшаяся, вбежала в комнату матери.

Марьи Сергеевны в спальне не было, и Наташа вприпрыжку, размахивая на бегу книгами и тетрадами, пробежала в гостиную.

– Двенадцать, мама, опять двенадцать! Уже третье двенадцать в эти экзамены! – кричала она с восторгом.

– Тише, Наташа!

Наташа остановилась и встретила взгляд чьих-то светло-голубых глаз, окаймленных слегка покрасневшими и немного припухшими веками.

Как раз напротив нее сидел какой-то высокий, белокурый, очень красивый господин, взиравший на нее с легким недоумением. Наташе не было видно Марьи Сергеевны; она сидела на низкой оттоманке, полускрытая трельяжем и растениями.

– Моя дочь! – слегка улыбаясь, проговорила та.

Наташа, вся вдруг покрасневшая, присела совсем по-детски. Она вдруг почувствовала себя такою неуклюжей и неловкой, и это сконфузило и рассердило ее. Ей было ужасно досадно, что она так влетела в комнату при постороннем, «совсем как девчонка».

Изящный господин слегка привстал и низко поклонился, протягивая ей руку.

– Совсем уже большая барышня, – произнес он не то любезно, не то иронически.

Но Наташа в эту минуту сознавала себя более чем когда-либо совсем маленькой, и искося, сердито и быстро оглядев гостя исподлобья, вложила в его красивую руку по-детски неумело свою красную и несколько крупную, как у большинства подростков, руку и сконфуженно опустила на стул подле матери, не зная, что сказать, как сидеть и что делать.

Марья Сергеевна, казалось, также чувствовала себя не совсем ловко и краснела еще больше дочери. Когда Наташа села, изящный господин продолжал свою прерванную речь мягким, приятного тембра голосом.

Наташа сидела напротив него с тем насупленным и сердитым видом, который принимала всегда, когда чувствовала себя сконфуженной. Она сама не умела объяснить себе, почему этот изящный барин так злит и раздражает ее. Говорил он очень умно и даже приятным голосом, а между тем каждое его слово, каждое движение безотчетно раздражали ее. В душе она была очень обижена на мать, которая приняла так равнодушно и холодно ее радостную весть о новых двенадцати и сидела теперь совершенно безучастная к ее экзаменам, но очень, по-видимому, внимательная к рассказу гостя.

Гость, наконец, закончил свой рассказ, и на мгновение разговор оборвался. Переждав несколько мгновений и видя, что дамы молчат, он обратился к Наташе как к новой, еще не исчерпанной теме.

– Барышня, кажется, выдержала блестящим образом экзамен? – обратился он к ней.

Наташа опять вспыхнула, но ничего не ответила, за нее отвечала Марья Сергеевна:

– Она у меня отлично учится.

– Гм! Это очень хорошо! А вы теперь в который же класс переходите?

– В третий... – неохотно отвечала Наташа.

Она вовсе не желала говорить с антипатичным ей господином, и его вопросы только окончательно сердили ее. «Чего он пристал ко мне? – думала она с раздражением детского каприза. – И чего он только, господи, торчит!» Хотя в душе она и была обижена на мать, но ей все-таки хотелось как можно скорее остаться с ней вдвоем. А гость, по-видимому, совсем не желал понимать ее. Он сидел в очень спокойной позе и говорил тем медленным тоном, каким говорят люди, которым некуда торопиться.

– В третий! Это значит, по-нашему, в пятый? У вас ведь, кажется, первый считается старшим? Значит, вам остается еще три года только!

Наташа молчала, а он задумчиво переводил свои водянисто-голубые глаза с дочери на мать, точно мысленно сравнивая их.

– Совсем большая барышня! – прибавил он, ни к кому специально не обращаясь, и вдруг, переведя глаза прямо на Марию Сергеевну, воскликнул с каким-то точно удивлением: – А я почему-то воображал, что у вас нет детей!

– Да? – вспыхнула слегка Марья Сергеевна и чему-то сконфуженно засмеялась.

Гость продолжал несколько мгновений глядеть на нее загадочно улыбающимися глазами.

«Как он глядит, как он глядит, как он смеет так глядеть?!» Наташе даже захотелось наговорить ему дерзостей, и любезное выражение материнского лица ужасно сердило ее.

– Ну, теперь недолго уже и до конца осталось! – обратился он опять специально к Наташе. – Каникулы – это радость всех гимназистов, гимназисток, институток, словом, всего нашего маленького учащегося люда. Я прекрасно помню, в какой неистовый восторг приходил я сам в тот день, когда нас распускали, и потому буду от всей души сочувствовать вашей радости в тот день, когда вы забросите ваши книги и тетради на полки на целых три месяца

и приметесь снова за ваши игрушки и кукол. Я нахожу, что мы слишком замучиваем наших детей ученьем зимой, а потому, чем больше они бегают, играют и возятся летом, тем лучше это и полезнее для них во всех отношениях.

Он, по-видимому, еще долго бы говорил о Наташе. Но Наташа, с ярко заблестевшими от негодования глазами, вдруг резко оборвала его:

– Я вовсе не собираюсь играть в куклы и бегать в пятнашки, мне уже пятнадцатый год!

В ее голосе послышались и слезы, и злость, и обида, и негодование; она вся раскраснелась, и в глазах ее сверкнули даже слезы.

– Наташа! – остановила ее Марья Сергеевна полустрогим, полуиспуганным взглядом. – Во-первых, тебе нет еще и четырнадцати, а во-вторых, я попросила бы тебя не волноваться и не горячиться так.

– Конечно, мама; меня только что называли большой барышней, а теперь предлагают играть в куклы.

– Но, милая барышня, ради бога, простите меня, я совсем не хотел этим обижать вас, я говорил больше лично про себя, про свои воспоминания детства. Не беспокойтесь, Марья Сергеевна, это просто маленькое недоразумение между мной и вашей милой барышней. Я сам виноват. У барышни очень впечатлительная и нервная натура, но мы с ней все-таки будем друзьями. Не правда ли? Она протянет мне свою ручку, а я обещаюсь больше не поддразнивать ее, и мы совсем помиримся... Я всегда со всеми детьми в дружбе! Не так ли, милая барышня? Ну, дайте же ручку.

– Наташа, дай же руку!

Марья Сергеевна бросила на дочь недовольный и строгий взгляд.

Наташа, презрительно блеснув глазами, гордо подняла головку и безучастно вложила свою похолодевшую от волнения ручку в протянутую ей красивую белую руку с выточенными розовыми, как у женщины, ногтями.

– Простите ее, Виктор Алексеевич, она у меня совсем еще дичок, – с недовольным и сердитым видом заговорила Марья Сергеевна.

Ручка Наташи слегка дрогнула в руке Вабельского.

Виктор Алексеевич с упреком взглянул на Марию Сергеевну и только покачал своей красивой головой.

– Ну, вот опять! Ай-ай-ай, барыня, мы только что начали мириться, а вы опять хотите нас посорить! Совсем не барышня просит у меня прощения, а я у нее...

Наташа молчала и, высвободив, наконец, свою руку, начала теревить складки своего гимназического передника. Ей хотелось уйти, и в то же время она ни за что не хотела уходить и молча продолжала сидеть, бросая исподлобья угрюмые взгляды по сторонам.

Виктор Алексеевич, поняв наконец, что маленькая хозяйка не желает говорить с ним, спокойно оставил ее и перешел к другой теме.

Теперь Наташа уже не желала его ухода для того, чтобы остаться наедине с матерью; она видела, что мать изредка оглядывает ее строгими глазами, и, чувствуя, что та на нее сердится, обижалась чуть не до слез, и свою обиду с матери переносила на «отвратительного» Вабельского как на виновника ссоры между ней и Марьей Сергеевной.

Наконец пробило пять часов. Вабельский поднялся и начал раскланиваться. Прощаясь с Марьей Сергеевной, он надолго задержал ее руку в своей, продолжая говорить о каких-то пустяках, как будто совершенно забывая, что он удерживает ее руку, а она не отнимала ее и глядела на него искрившимися глазами.

– Ну-с, барышня, ведь мы не в ссоре? Не правда ли? – обратился он к Наташе. – Или мы должны привыкнуть, прежде чем подружиться? Если так, то это еще лучше, дружба будет прочнее.

Наташа тоскливо стояла посреди комнаты.

«Лучше уйти к себе, – думала она, – Господи, ну отчего он такой противный! Только бы не вздумал еще часто бывать!»

Она прошла в свою комнату и встала у окна, уныло смотря на улицу. Погода испортилась, шел дождь, перемешанный со снегом... Мостовые, дома, люди – все казалось каким-то серым, мокрым...

Через минуту послышались торопливые шаги. Марья Сергеевна вошла, порывисто распахнув дверь, и заговорила с резко звенящими нотками в голосе:

– Скажи на милость, что это еще за фокусы? Ты, кажется, совершенно с ума сошла! Как ты смеешь говорить *так* с моими гостями? Я тебя так избаловала, что просто ни на что не похоже! Ты скоро бог знает что будешь позволять себе. Разыгрываешь из себя большую, а ведешь себя как девчонка. Обижаешься, требуешь какого-то почтения... И потом, что это еще за объявление всем и каждому о своих годах? Слишком рано начала прибавлять себе года; ты еще ребенок и, когда говоришь со старшими, должна это помнить. Прошу впредь никогда и ничего подобного не выкидывать!..

Марья Сергеевна вышла и с силой захлопнула за собой дверь. Наташа стояла у окна вся побледневшая, с каким-то пораженным лицом.

Мать еще никогда в жизни не говорила с ней таким тоном. Обыкновенно Марья Сергеевна была очень мягка с дочерью и почти никогда не повышала голоса.

И вдруг!

При слове «вдруг» Наташе снова припомнились все обидные слова матери и ее искаженное гневом лицо.

Кричать, как на девчонку, из-за какого-то Вабельского! О!

И Наташа горько зарыдала, прислонясь горячим лбом к холодным стеклам окна...

VII

К обеду Наташа вышла с заплаканным лицом и пасмурно сидела все время, изредка только вскидывая на мать глаза.

Если бы Марья Сергеевна, встретившись взглядом с дочерью, улыбнулась ей, Наташа была бы готова сейчас же броситься к ней на шею.

Но Марье Сергеевне хотелось выдержать характер, и сквозь пар, поднимающийся от супа, проглядывало как бы подернутое легкой дымкой ее лицо с сердито сжатыми губами, с маленькой морщинкой между бровями, придававшей ее глазам холодное и гневное выражение.

Наташа чувствовала, что мать нарочно не хочет встречаться с ней взглядом, и, чувствуя это, она оскорблялась еще более и делалась все сумрачнее.

Марья Сергеевна находила теперь, что она слишком избаловала дочь, слишком много дала ей воли, поставив ее в положение скорее друга, чем ребенка. Прощаясь с Вабельским, она еще раз извинилась перед ним за дочь.

– Да полноте же! – отвечал он ей. – Ведь это еще ребенок, правда, немножечко избалованный, так ведь это даже и не ее вина.

Марья Сергеевна чувствовала это, и отчасти ей было это даже приятно. Она сознавала, что Вабельский прав: конечно, Наташа еще совсем ребенок, и ребенок, страшно избалованный самой же ею. Он прав, это ее собственная вина. Но как исправить то, что уже испорчено? Она сама еще хорошенько этого не знала, но решила, что надо будет принять какие-нибудь меры, наконец. Сделав дочери выговор, она пришла к себе в кабинет и начала ходить по нему взад и вперед, как всегда делала, когда была чем-нибудь сильно раздражена.

Ее ужасно взволновала вся эта, в сущности, пустая история, и, спрашивая себя: «Почему?», она отвечала самой себе: «Потому что я боюсь за Наташу».

Вспоминая выражение лица и сами ответы Наташи Вабельскому, Марья Сергеевна находила их страшно дерзкими, и ей было крайне неприятно, что ее родная дочь оскорбляет ее же гостей совершенно незаслуженно, только потому, что эти гости не имеют счастья нравиться «избалованной девочке»! И тем более ей было неприятно, что Наташа «наговорила дерзостей» именно Вабельскому, который был в ее доме в первый раз: они познакомились еще недавно, но он ей очень понравился, и с ним ей, более чем с кем бы то ни было, хотелось быть внимательной и любезной хозяйкой. Она даже старалась припомнить, не случалось ли таких историй и раньше: быть может, Наташа всегда и со всеми была дерзка и невоспитанна, и только она, в своем материнском ослеплении не замечала этого, пока простой случай не раскрыл ей наконец глаза?..

– Да, я ее страшно испортила, и это когда-нибудь тяжело отзовется и на мне, и на ней самой – сама Наташа не поблагодарит меня за это впоследствии.

Но как исправить это? Несомненно, что исправить ее еще не поздно, но как начать? Как приняться?

Марья Сергеевна сознавалась себе, что она плохая воспитательница, по крайней мере, была, теперь же употребит все силы, чтобы сделаться лучшей.

Девочка все время между большими – это старит детей раньше времени. Ей нужны подруги и дети ее возраста, нужны игры, шалости. Наконец, это необходимо и для здоровья... Девочка вечно в комнате, в книгах, ей совсем не след торчать в гостиной, когда там посторонние. Марья Сергеевна именно так и подумала: «торчать» – это даже стесняет, нельзя ни о чем говорить...

Марья Сергеевна долго еще думала и решила, во-первых, отдалить, насколько возможно, Наташу от взрослых и окружить ее подругами ее возраста; во-вторых, быть гораздо строже и придерживаться с ней известной, раз и навсегда установленной методы, а не так, как раньше было. Только в строгости своей Марья Сергеевна не была уверена и побаивалась, что не выдержит долго характера, но, во всяком случае, решила крепиться, сколько возможно дольше, и начать с этого же дня.

Следствием этого и было то, что Марья Сергеевна весь вечер не говорила с Наташей, глядела на нее холодно и, целуя дочь после обеда, едва прикоснувшись к ее лбу губами. Она хотела, чтобы Наташа лучше поняла и свою вину, и то, что она, Марья Сергеевна, очень ею недовольна.

Несколько раз в течение вечера ей делалось жаль дочь, и, казалось, что она уже достаточно наказала ее; ей даже хотелось позвать ее, поговорить с ней ласково, но серьезно и совсем уже примириться после этого. Раз она даже встала и подошла к двери Наташиной комнаты. Но каждый раз они припоминала свое решение и выдерживала характер.

Где-то глубоко в ее душе шевелилось безотчетное сознание, что она не совсем права, поступая так; раз даже явилась мысль, что она рассердилась так на Наташу только потому, что та задела именно Вабельского... Но эта мысль явилась лишь на мгновение и как-то смутно, и Марья Сергеевна, точно испугавшись, сейчас же отогнала ее и стала уверять себя, что ее долг вести себя именно так, а не иначе, ради самой же Наташи, которая после сама же будет благодарить ее за это. Когда будет это «после», она представляла себе не совсем ясно, но утешала себя мыслью, что когда-нибудь да будет...

Что касается Наташи, то она была положительно поражена. Еще никогда в жизни она не помнила Марью Сергеевну такой. При ее страстном обожании матери маленькая царапинка в их отношениях уже казалась ей большой раной. Сознание, что они поссорились, что «она» сердится на нее, страшно мучило Наташу; так же, как и Марья Сергеевна, она несколько раз подходила к двери с желанием броситься к матери на шею, расплакаться, поцеловать ее и помириться... И если Марья Сергеевна не делала этого из желания выдержать характер, то Наташа потому, что каждый раз вспоминала «противную» физиономию Вабельского, из-за которого

ее мать кричала на нее и грозила ей, как шестилетней девочке. Из-за Вабельского, которого она едва знает!

И она опять угрюмо садилась за книги, стараясь углубиться в свои уроки и в то же время чутко прислушиваясь к тому, что делалось в материнской комнате. Но там все было тихо... Изредка раздавался легкий кашель да слышался шелест переворачиваемых книжных листов. Раз Наташе показалось, что мать встала и подошла к двери. Наташа повернулась на стуле лицом к двери и затаила дыхание... Вот-вот дверь растворится... она войдет... И она ждала так несколько секунд, не отрывая глаз от двери... Но дверь не отворилась, и слышно было, как кто-то отошел от нее.

Наташа тихо вздохнула и принялась за тетради.

Часу в девятом Марья Сергеевна позвонила горничную и стала собираться куда-то на вечер. Наташа слышала, как она одевалась, говорила с горничной, отдавала какие-то приказания и, наконец, уехала, даже не зайдя к ней проститься. Павла Петровича также не было дома весь день, Наташа не стала пить чай и легла спать раньше обыкновенного. Но заснуть она не могла: все случившееся страшно волновало ее и казалось ей таким большим горем, которое если будет продолжаться, то убьет ее. И она все спрашивала себя, зайдет ли к ней мать ночью, по возвращении, как всегда, или нет. Наташа где-то глубоко в душе верила, что мать непременно придет к ней, и тут-то они и помирятся. Она даже представляла себе, как это будет: дверь отворится, мама войдет тихо, осторожно, как всегда, подойдет к ней, Наташа бросится к ней и... И, представляя это себе, она уже заранее чувствовала себя растроганной и умиленной до слез. До двух часов ночи она страстно ожидала возвращения матери; ни думать о чем-нибудь другом, ни спать она не могла и, беспокойно ворочаясь на постели с боку на бок, лежала с открытыми глазами, тревожно и чутко прислушиваясь к каждому шороху и все ожидая звонка...

Несколько раз ей казалось, что позвонили, тогда она вскакивала, приподнималась на локтях и слушала несколько секунд – не идут ли отворять... Но, убеждаясь, что ошиблась, опять тоскливо опускалась на подушки. Время тянулось страшно долго, и ей казалось, что никогда еще Марья Сергеевна не возвращалась так поздно.

«А что, если она не придет?..»

Но от одной этой мысли сердце ее начинало болезненно биться, и слезы беспомощно катились из глаз.

Тогда?.. Тогда она начинала придумывать, что с ней случится что-нибудь ужасное, самое ужасное, или она смертельно заболеет, и тогда мать придет к ней и будет упрекать себя за то, что довела ее, Наташу, «до этого». Что именно будет «этим», ей представлялось довольно туманно, но, во всяком случае, что-то ужасное.

В четвертом часу раздался звонок – Наташа вздрогнула и вскочила... «Это она...» Слух ее вдруг напрягся до самой тонкой чуткости: она слышала, как в передней отворяли дверь, как там возились довольно долго, снимая, вероятно, шубу; слышала даже, как глухо упали на пол снятые с ног калоши... Потом шаги – по зале, по столовой, по маленькой гостиной... Все ближе, все явственнее, уже слышно даже, как мягко шелестят по коврам длинные бальные юбки... Наконец, вошли в будуар. Наташа села на кровати и опустила голые ноги на пол. Сердце ее страстно и тревожно билось, ей даже казалось, что ей больно от этих частых и сильных ударов...

В будуаре раздавались пониженные, тихие голоса... Феня раздевала свою барыню и что-то рассказывала монотонным, слегка заспанным голосом. Марья Сергеевна говорила совсем тихо и мало; изредка только вырывалось более громкое, отрывистое слово...

«Ну, что же, что же она не входит?»

Теперь на Наташу напал страх, что мать, действительно, не войдет к ней, и с каждой проходящей минутой она уверялась в этом все больше: все ее существо еще бессознательно

ждало, и уверенность, что мать не придет, как-то странно смешалась со слепой, непоколебимой надеждой, что она придет.

Но проходили минуты, дверь не отворялась...

«Ах, когда Феня уйдет! – радостно подумала вдруг Наташа. – Она не хочет только при Фене, ну, конечно, конечно!»

И с новой надеждой она впиалась в дверь, отделяющую ее от матери, ожидающими глазами.

Прошло еще несколько минут, голоса почти не раздавались, слышны были только шаги... Это, верно, Феня наскоро прибирала вещи.

«Ах, скорее бы, скорее бы она уходила...»

Теперь Наташа ждала уже только ухода горничной.

– Свечу погасить?

– Погаси...

Наташа судорожно вздрогнула.

«Погасить, как погасить?.. Разве уже легла... Значит...»

Сердце ее забилось еще чаще, еще болезненнее.

В соседней комнате кто-то дунул так, как дуют, когда гасят свечу. Погасла...

Опять послышались шаги, все удалявшиеся и, наконец, совсем замершие где-то в глубине коридора.

Феня ушла, и с ее затихшими шагами кругом воцарилась полная тишина, та тишина, которая разливается только ночью, когда вместе с людьми точно и все остальное засыпает...

Наташа все еще сидела с опущенными на пол ногами... Она как будто еще чего-то ждала... Лампадка слабо мерцала, и бледные тени ее ползали и трепетали по стенам и по полу комнаты. Наташа глядела на них, прислушиваясь к разлившейся по всем уголкам тишине ночи... Ей было холодно, но она не чувствовала этого, хотя вся дрожала и зябко ежилась голыми плечами.

В углу, возле печки, что-то тихо зашуршало, большой черный таракан, осторожно поводя длинным усом, выполз из-за печки и медленно переползал по карнизу, выделяясь черным движущимся пятном на светлых обоях... Наташа поглядела на него... Где-то, верно, в кабинете, глухо пробили часы: раз... два... три... четыре...

Наташа слегка вздрогнула от пробежавшей по ее телу холодной дрожи и медленно приподняла голову. «Не пришла...» – тихо прошептала она, и это слово показалось ей таким ужасным, ей вдруг сделалось так больно и так мучительно жаль и самое себя, и того, что мать не пришла, и того, что все кончилось... Что кончилось, она неясно еще понимала, но что-то кончилось и оборвалось – это она чувствовала с острой, горькой болью.

VIII

Разлад между матерью и дочерью если и не обострялся, то, во всяком случае, как-то странно затягивался и усложнялся. Наташа точно спряталась в себя, и Марья Сергеевна, которой надоело, да и не хотелось уже выдерживать характер, начала следить за девочкой уже с некоторым беспокойством и недоумением.

Несколько раз порывалась она перейти к прежним отношениям с дочерью, но это плохо удавалось ей. Наташа не сердилась, не имела даже надутого вида, как это часто свойственно избалованным детям, а между тем Марья Сергеевна чувствовала, что девочка уже не та, хотя для не очень наблюдательных глаз их отношения оставались почти такими же, как и прежде.

По прошествии первых же трех дней Марья Сергеевна, видя, что Наташа не подходит просить прощения, не вытерпела и однажды сама за чайным столом обняла и поцеловала ее. Это было как бы водворением мира с ее стороны, но, целуя дочь, Марья Сергеевна почувство-

вала в ее ответном поцелуе что-то совершенно новое, как будто холодное и равнодушное. И с тех пор это продолжалось.

Встречаться им теперь приходилось реже: у Наташи шли экзамены, у Марьи Сергеевны кончался сезон, давались последние вечера, делались прощальные визиты и т. д.; тем не менее встречаясь, они были внешне очень ласковы друг с другом. Только Наташа стала как-то меньше болтать, дурачиться и восхищаться матерью. Она точно выросла за несколько дней, стала задумчивее и как будто втайне о чем-то грустила. Даже ее взгляд сделался глубже, и порой, ловя его на себе, Марья Сергеевна невольно смущалась, хотя и не могла себе объяснить, почему. Часто это сердило ее. Прощаясь на ночь, они, как и прежде, крестили друг друга, но каждый раз Марья Сергеевна подмечала, что Наташа делает это теперь торопливо, немного сконфуженно и точно нехотя.

Все эти маленькие, только Марье Сергеевне заметные мелочи смущали и удивляли ее, но она надеялась, что через некоторое время все войдет в обычную колею. Теперь ей было досадно, зачем она в ту же ночь, по возвращении с бала, не зашла к Наташе и тогда же не помирилась с ней; в душе она немножко сердилась на себя за то, что послушалась тогда Вабельского, которому как-то невольно рассказала все.

Она не чувствовала в себе способности и умения перевоспитывать дочь, и потому ей хотелось посоветоваться об этом с кем-нибудь. Но с кем – она не знала. Мужа ей почему-то не хотелось путать в это дело, она даже хотела бы скрыть от него размолвку и была очень рада, что его весь день не было дома; родня же и знакомые слишком мало знали и ее, и Наташу, и их «особенные» отношения, чтобы с пользой что-нибудь посоветовать. Первая размолвка с дочерью своей новизной и с непривычки казалась ей целой историей, чуть не переворотом, заботила и даже мучила ее, поглощая все ее мысли. Она почти не могла ни думать, ни говорить о чем-нибудь другом, а потому очень обрадовалась, когда в числе гостей на вечере увидела Вабельского. Все это произошло на его глазах, он был даже косвенной причиной их ссоры, и Марье Сергеевне казалось, что с ним ей удобнее, чем с кем бы то ни было, посоветоваться об этом.

«Он такой милый и умница, что-нибудь придумает...»

Вабельский первый заговорил с ней о Наташе и об утреннем визите.

Марья Сергеевна сама не заметила, как мало-помалу рассказала ему свои отношения с дочерью, чуть ли не со дня ее рождения. На нее вдруг нашел какой-то порыв откровенности.

Вабельский молча и внимательно слушал ее, слегка склонив красивую белокурую голову.

– Ваша Наташа, – заговорил он, когда она, взволнованная своей неожиданной исповедью, примолкла на мгновение, – ваша Наташа прелестная девочка, и из нее может выйти чудная женщина, одна из тех женщин, которые встречаются все реже и реже. Но...

Он запнулся с тем выражением лица, которое невольно является, когда не хотят сразу высказать свою мысль.

Она поняла его.

– «Но»?.. – повторила она вопросительно, точно желая этим заставить его продолжать.

– Но я боюсь, что вы сами же испортите ее... Вы не сердитесь, будем говорить откровенно, по-товарищески?

Он взял ее руку и слегка пожал ее.

– Нет,нисколько не сержусь; знаете, я и сама не раз думала то же самое. Я давно уже хотела поговорить об этом с кем-нибудь... Но с кем же?... С кем-нибудь из знакомых мне отцов и матерей? Но что могут они посоветовать мне, когда они все сами точно так же, если еще не хуже, испортили своих детей? Чему они могут научить?..

Вабельский засмеялся.

– Это правда, – сказал он, – большинство наших детей портится их же собственными матерями. Сколько пользы могу я принести вам своим советом – не знаю; детей у меня нет, и

потому о воспитании я могу судить только теоретически... Во всяком случае, я думаю, что с детьми необходимы известная выдержка и система, необходим более или менее план воспитания, так сказать, правильный режим, а не то, что сегодня – так, завтра – иначе, и всегда – как бог на душу положит: авось, мол, сойдет как-нибудь, все равно и так вырастут.

Марья Сергеевна внимательно слушала.

– Но что же, что же делать? Как воспитывать? А вот теперь... В таких случаях как исправлять ошибки?..

– Да ваша же собственная Наташа учит вас, что делать. У нее же есть и характер, и выдержка, а у вас нет! Она не хочет идти просить у вас прощения и не пойдет, хотя и знает, что вы сердитесь и мучаетесь. А вы не выдержите, и сегодня же сами первая пойдете к ней мириться! Таким образом, ваша Наташа не только не сознает своей вины, но даже будет чувствовать себя отчасти мученицей, даром обиженной и, уж конечно, совершенно правой, чему доказательством ей будет служить уже сам тот факт, что в конце концов вы и сами это осознали и пришли к ней. И в будущем вы не только не гарантируете себя от подобных капризов, но еще и даете им полный простор развиваться и усиливаться. Вы мне скажете: Наташа не дитя, не ребенок. Ей уже четырнадцать на днях минет. Положим, четырнадцать вдвое больше, чем семь, но все-таки это еще не аттестат на зрелость и самостоятельность. Этот возраст даже более трудный, опасный и требующий известного ухода и выдержки, чем всякий другой, потому что с него начинается переворот и перерождение девочки в будущую женщину.

Марья Сергеевна в душе соглашалась с ним, но только чувствовала, что не сумеет приняться за дело.

– Это очень трудно, – задумчиво заговорила она, поднимая на него глаза, – и сделать это гораздо труднее, нежели понять, что именно нужно сделать. Я понимаю, но исполнить едва ли сумею.

Он, улыбаясь, глядел на нее, как бы мысленно думая о чем-то совсем ином. Он сразу взял с ней товарищеский тон, и, слушая его, говоря с ним, она чувствовала себя так легко и просто, что ей казалось, будто они уже давно знают друг друга. Она была глубоко благодарна человеку, говорившему с таким интересом о том, что было для нее дороже всего, и руководившему ею там, где она без посторонней помощи не могла найти твердой почвы под ногами.

Когда она спускалась с лестницы, Вабельский пошел проводить ее и, помогая ей одеваться, шутливым и заботливым тоном наставлял ее.

Ей было смешно, что ее учат, как маленькую, и в то же время ей это нравилось, тем более что она находила его совершенно правым.

– До свиданья! Смотрите же, не испортите моей Наташи! – шутливо проговорил он.

– Вашей?

– Ну, нашей!

Они глядели друг другу прямо в глаза и улыбались. Марья Сергеевна чувствовала себя в каком-то особенном состоянии духа: ей было как-то беспричинно весело.

Подсаживая ее в карету, Вабельский крепко пожал ее руку.

– До свиданья. Заезжайте же, – сказала Марья Сергеевна.

Вабельский ничего не ответил и только поклонился.

Карета тронулась; он остался еще на подъезде, и Марья Сергеевна, еще раз выглянув из окна кареты, поклонилась ему. Слабый отсвет от фонарей осветил на мгновение ее лицо, скользнув светлой, желтоватой полосой по ее пунцовому плюшевому шарфу, из-под которого на него сверкнули темные глаза и красиво обрисованный рот.

Вабельский задумчиво глядел ей вслед. Какое-то странное выражение пробежало по его лицу.

– Очень ты, барынька, хороша! Очень! – тихо проговорил он и, запахнувшись плотнее в шинель, быстро вскочил на свои дрожки...

Когда карета отъехала от подъезда и плавно закачалась на упругих рессорах, Марья Сергеевна откинулась в самую ее глубь и, запрокинув голову на мягкие подушки, прикрыла глаза. Улыбка, с которой она простилась с Вабельским, еще не сбежала с ее лица, придавая ему какое-то мечтательное выражение...

Было уже поздно; на улицах стояла тишина, кое-где лишь запоздавшие кареты быстро катились по мостовой да редкие извозчики сонно почмокивали на таких же сонных кляч. Марья Сергеевна томно глядела из-под опущенных ресниц в окна кареты прямо против себя, машинально следя взглядом за едущими экипажами и мелькавшими перед ней фонарями...

Какие-то обрывки мыслей и фраз вяло толпились в ее голове, но ей было так хорошо в мягком сумраке кареты, в теплом меху ротонды, на слегка покачивающихся подушках... Она не то дремала, не то мечтала о чем-то, убаюкиваемая тихой ездой.

IX

Весна подходила к концу. Снег давно стаял, река прошла, смолистые сочные почки на вздувшихся и почерневших деревьях лопались, выпуская из себя липкие ярко-зеленые листочки, еще совсем маленькие и сморщенные, но свежие и душистые тем особенным запахом смолы, который присущ им только в мае.

Каждый год Павел Петрович, с наступлением лета, отправлялся в дальнюю командировку, продолжавшуюся месяца два, иногда три. До сих пор это не выбивало Марью Сергеевну из обычной колеи. К этим командировкам она привыкла уже давно, и в большинстве случаев тотчас по его отъезде они с Наташей перебирались на дачу, куда в июле месяце приезжал и Павел Петрович. Но этим летом их задерживали в городе Наташины экзамены, и Марья Сергеевна находилась в каком-то странном состоянии духа: она точно потеряла свое обычное спокойствие, и какие-то неясные желания бродили и зарождались в ней.

Еще провожая Павла Петровича на станцию железной дороги, она почувствовала это.

День был яркий, солнечный; все кругом ее двигалось, жило, суетилось, говорило, смеялось; во всем сказывались весеннее обновление и жизнь. С улицы доносилась трескотня экипажей, звонки конок и гул снующего народа. Марья Сергеевна стояла у вагона рядом с Наташей и рассеянным взглядом следила за толпой. Ей хотелось чего-то нового, и она с любопытством всматривалась в эти оживленные, чужие ей лица и в лица дочери и мужа, такие спокойные и серьезные.

Наташа молча стояла возле нее с тем апатичным выражением, которое всегда проявлялось у нее в минуты грусти. Девочке, по-видимому, было жаль расставаться с отцом, и, нежно сжимая его руку, она печально глядела на него. Он улыбался ей ласково, но сдержанно, и что-то говорил ей своим спокойным, несколько медленным голосом.

Марья Сергеевна едва слушала их. Бывало, отъезжающий поезд всегда производил на нее тяжелое впечатление; даже возвращаясь в опустевшую квартиру, она не чувствовала такой гнетущей тоски, как в эти минуты на вокзале. Но теперь чудный весенний день невольно бодрил и ее. И на душе ее было скорее как-то радостно, нежели грустно.

Раздался последний звонок. Павел Петрович еще раз горячо обнял жену и Наташу.

– Пишите же...

– Да, да...

Они вместе кивали ему, и Наташа, улыбаясь сквозь катившиеся по ее щекам слезы, посылала рукой ему поцелуи.

Зато когда они вернулись домой в свои большие комнаты, казавшиеся после яркого уличного света и оживления немного темными и мрачными, Марья Сергеевна вдруг почувствовала страшную пустоту... И ощущение этой пустоты не только не проходило в следующие дни, но даже усиливалось. Кажется, к отъездам мужа она привыкла уже давно и, подчиняясь необхо-

димости, никогда особенно не скучала, а теперь... Теперь на нее напала вдруг беспричинная тоска, и Марья Сергеевна инстинктивно чувствовала, что тоска эта не по мужу. Она сама не знала, о чем скучает, но чего-то ей не доставало. Раздумывая порой об этом, она решила, что это происходит просто оттого, что, во-первых, между ней и Наташей пробежала черная кошка; во-вторых, потому, что они отчасти выбиты из обычной колеи: в городе становилось слишком пыльно и душно, ее невольно тянуло в зелень, на чистый воздух; в-третьих, в прежние годы Марья Сергеевна сама готовила дочь к экзаменам, теперь же Наташа переходила уже в третий класс, занятия осложнились, и Марья Сергеевна чувствовала себя уже не в силах лично подготавливать ее. Наташа знала положительно больше ее самой; притом она уверяла, что заниматься одной или с кем-нибудь из своих товарок по классу ей гораздо удобнее и потому редко даже бывала дома. Днем – в гимназии, а по вечерам или она уходила к одной из подруг «готовиться», или к ней приходила какая-нибудь из них, и они просиживали так часов до десяти, после чего Наташа, утомленная и усталая, спешила скорее лечь спать, чтобы иметь возможность встать на другой день пораньше.

К тому же сдержанность Наташи с матерью не проходила: девочка точно не хотела или не могла уже вернуться к прежней искренности и задушевности, и Марья Сергеевна, не раз делавшая попытки к сближению, чувствовала себя отчасти даже обиженной и незаслуженно оскорбленной. Порой это даже возмущало ее, и она сама становилась с дочерью суше и холоднее.

Но тогда тоска и одиночество снова охватывали ее. Не раз вспоминала она о Вабельском, ей очень хотелось поговорить с ним, посоветоваться, но с того вечера, когда они виделись, прошло уже около трех недель, а он не являлся. Сначала она все поджидала его, ей казалось, что он непременно должен прийти на днях, и, видя, что его все нет, она немного удивлялась и досадовала.

После того вечера, когда она так задушевно разговорилась с ним, она чувствовала к нему какую-то невольную симпатию. Никогда еще не хотелось ей так иметь возле себя близкого человека – друга, с которым она могла бы поговорить и поделиться всем, что накопилось у нее в душе. Прежде у нее или не было такой потребности, или же этого друга заменяла ей Наташа. Теперь же, думая о Вабельском, Марья Сергеевна чувствовала, что именно он мог бы быть таким другом, какого ей не доставало.

По утрам, когда она просыпалась и входившая Феня поднимала темные шторы на окнах, выпуская целые потоки солнца и света, Наташа в большинстве случаев была уже в гимназии или еще спала, засидевшись накануне, и в доме царствовала тишина. Только откуда-то из кухни доносились звонкие голоса прислуги, звяканье посуды и смех кухарок и горничных, перекликавшихся друг с другом на весь двор через открытые окна. Марья Сергеевна задумчиво отхлебывала чай маленькими глоточками и рассеянно перелистывала журнал или газету. Потом она облакачивалась на подоконник и с любопытством заглядывала вниз. Свежий ветер колыхал возле ее лица тонкие пряди ее волос и шелестел мягкими складками фулярового капота, сквозь широкие рукава которого ее охватывало слегка свежим воздухом. Здоровый румянец ярче заливал ее лицо, и солнечные лучи, скользя по нему, золотили мелкий, едва заметный в тени нежный пушок на ее щеках. И снова, как тогда, на вокзале, на нее налетал какой-то особенный стих...

Феня лениво убирала и подметала комнату, поминутно выбегая в кухню и пропадая там по полчасу. Постель стояла еще неприбранная, со смятыми подушками и разбросанными простынями, умывальник был залит мыльной водой, а снятые с вечера платья и юбки еще валялись разбросанными по всем креслам и стульям. На всем лежал легкий слой пыли, и только цветы в жардиньерках ярко светились на солнце и, казалось, тянулись к нему, подставляя лучам его свои пышные ароматные головки.

И на Марью Сергеевну снова нападала тоска, а перед ней лежал еще длинный, бесконечный день.

«Скорей бы уж кончались эти экзамены! – думала часто Марья Сергеевна. – Меня просто тянет на воздух, в зелень... оттого и тоска... Переедем, и все кончится».

Вабельского она больше уже не ждала, случайно узнав, что он почти на другой день после вечера, на котором они в последний раз виделись, был вызван в Москву телеграммой по какому-то делу.

Х

Раз утром, когда Марья Сергеевна только что успела одеться, вдруг раздался звонок.

Марья Сергеевна удивленно прислушивалась к голосам в передней. В последнее время звонки раздавались очень редко: все разъехались, и визиты прекратились.

Феня подала визитную карточку.

Марья Сергеевна быстрым взглядом прочла ее и вдруг торопливо и радостно поднялась с дивана.

– Ах! Проси, проси... – заговорила она взволнованным голосом. – Постой, дай мне что-нибудь накинуть...

И, схватив кружевной шарф, она торопливо повязывала его в большой бант, бросая на себя быстрые взгляды в зеркало, и, завязав наконец, пошла навстречу Вабельскому, радушно протягивая ему обе руки.

– Здравствуйте! Здравствуйте! – радостно заговорила она. – Где же вы это были, куда пропали? Я думала, что уж вы навеки исчезли!

И она приветливо смеялась ему, не отнимая от него своих рук, которые он поцеловал хоть и почтительно, но с каким-то едва уловимым оттенком фамильярной, дружеской ласки.

– Ну, садитесь, садитесь, – говорила она все тем же торопливым и радостным голосом. – Впрочем, нет, пойдите ко мне, там гораздо лучше; тут совсем нет солнца, у меня уютнее...

И она провела его в свой залитый яркими лучами будуарчик с широко распахнутыми окнами, в которые врывались, колыхая тюлевые занавески, струи теплого воздуха.

– Вот, садитесь здесь и чего хотите – чаю, кофе? Или не хотите ли позавтракать?

– Успокойтесь, ничего не надо, давайте лучше сядем вот тут и поболтаем. Мы с вами так давно не виделись.

Но она не успокоилась:

– Да нет, право же, я сама завтракаю обыкновенно часа в два, а теперь четверть второго, всего получасом раньше!

И она ласково смотрела на него, точно прося согласиться.

Виктор Алексеевич улыбнулся:

– Ну, будем завтракать, если уж вам непременно хочется накормить меня.

– Вот и отлично!

Она вышла распорядиться и через минуту вернулась назад с тем же смеющимся, повеселевшим лицом, и это оживление делало ее еще красивее.

– А теперь рассказывайте, где были, что делали?

– Ничего особенно интересного не делал. Вызвали меня тогда в Москву, так что я даже и проститься не успел заехать к вам. Думал пробыть там всего дней пять-шесть и ограничиться только Москвой, а между тем все дело осложнилось, пришлось лететь в Нижний, в Казань, и вместо шести дней вышел почти месяц.

Она прервала его:

– Когда вы вернулись?

– Вчера... Вчера вечером...

На минуту он остановился и посмотрел на нее пристальным взглядом. Она ласково улыбнулась ему, в душе ей было очень приятно, что он вернулся только вчера и сегодня уже у нее. «Вспомнил так скоро...»

– Да, вчера, – задумчиво проговорил он и, точно вдруг поняв ее мысли, засмеялся каким-то особенным смехом.

Они глядели прямо в глаза друг другу, и каждый из них сознавал, что другой читает и понимает его мысли.

– Ну, а вы что подельвали без меня, что «наша» Наташа?

– «Наша Наташа»? – повторила она, улыбаясь слову «наша». – Ничего... В гимназии... Держит экзамены...

– А ваша маленькая размолвка прошла благополучно? Без следа?

– Без следа? – Марья Сергеевна задумчиво и грустно улыбнулась. – Нет, следы, кажется, остались... маленькие... всего лишь царапинки... Не раны, – прибавила она, успокаивая не то его, не то себя.

– И отлично! Я вам предсказывал, что все обойдется; впрочем, меня все это очень интересует, и раз уж вы посвятили меня в начало, будьте добры до конца когда-нибудь расскажите все подробнее... Нет, без шуток, я сам не понимаю, отчего все, что касается вас и вашей Наташи, так живо интересует меня. Мы с вами знакомы, в сущности, еще очень немного, а между тем, знаете, я даже там, в Нижнем, среди всех этих дел, хлопот и неприятностей, не раз вспоминал и думал о вас и вашей Наташе...

– В самом деле?

«Какой он милый!»

Вошла Феня с большим подносом, уставленным закусками и винами. Столовую оклеивали новыми обоями, и завтракать там было нельзя.

– Поставьте вот здесь, Феня, на этот столик!

Марья Сергеевна указала глазами на небольшой рабочий столик, стоявший между ней и Вабельским.

– Здесь нам будет немного тесно, но зато здесь все-таки лучше и веселее как-то.

– Это ничего, – улыбнулся он ей в ответ. – Бог даст, не поссоримся и в тесноте, у вас тут очень уютно и сколько цветов! Совсем как сад.

– Это моя любимая комната.

– Я это вижу. В этой комнате яснее, чем в других, чувствуется ваша рука: комната вся точно пропитана вами, на всем лежит ваш отпечаток и ваш вкус.

Они сидели совсем близко друг против друга, разделенные только пространством маленького стола, и Марья Сергеевна чувствовала себя в таком хорошем настроении, как давно уже с ней не случалось.

После завтрака Вабельский скоро собрался уезжать – у него было еще много дел.

– Но послушайте, неужели вы все так вот и сидите целыми днями в этой духоте? – спрашивал он, уже уходя и застегивая перчатки.

Марья Сергеевна улыбнулась недовольною улыбкой:

– Что ж делать? Приходится...

– Приходится! – воскликнул он, нетерпеливо передернув плечами. – «Приходится», и потому не протестующая покорность судьбе? Нет, уж вы меня простите, но я положительно не позволю вам этого делать! Хоть изредка, но вы дайте мне разрешение увозить вас куда-нибудь. Ну, хоть на те же острова, все лучше, а то вы положительно заболете!

– Положим, хоть и не заболею, но я и не отказываю.

– Ну, вот и отлично, вы завтра свободны? Не хотите ли проехаться куда-нибудь, ну хоть на Стрелку? Согласны?

Марья Сергеевна колебалась. В сущности, она была не прочь проехаться, но ей казалось это немного неловко. До сих пор она каталась только с мужем, и это невольно смущало ее; к тому же она не знала, как быть с Наташей. Оставлять ее одну не хотелось; взять с собой? Но она боялась, что Наташа, пожалуй, не поедет, и молчала, не зная, на что решиться.

Вабельский понял ее.

– Мы и Наташу возьмем, уговорим ее ехать. Итак, решено, завтра часов в семь я приеду за вами, и мы вместе отправимся дышать воздухом, – договорил он, смеясь и целуя ее руку.

Она молча, с нерешительным выражением лица, улыбалась ему. Ей так не хотелось отказать ему, и она невольно согласилась.

Вабельский уехал.

Вскоре пришла Наташа, ее вызвали одной из середины, и потому она освободилась немного ранее.

С самого начала обеда Марье Сергеевне хотелось сказать дочери, что завтра они поедут кататься, но она медлила, сама не зная, почему. Ей даже не хотелось бы говорить Наташе и о том, что Вабельский был здесь; она чувствовала, что Наташа в душе недолюбливает его и сердится на него даже еще и теперь, а потому сообщать дочери о его визите ей было неприятно. Но в то же время она не желала и скрывать от дочери не только его посещения, но даже и своей к нему симпатии. Иначе выходило бы, что она в угоду дочери не смеет выбирать себе самостоятельно даже друзей.

– Хочешь ехать завтра кататься на острова? За нами заедет Вабельский! – спросила она наконец, но под влиянием этих мыслей голос ее звучал холодно и строго.

Наташа быстро подняла глаза.

– Вабельский? – переспросила она, точно не веря ушам.

«Начинается...» – подумала с раздражением Марья Сергеевна и повторила еще суше и нетерпеливее:

– Ну да, Вабельский!

Наташа смущенно молчала несколько секунд. Этот Вабельский, который заставил ее так помучиться тогда...

Она уже было начала надеяться, что он не явится к ним больше никогда. И вдруг даже кататься с ним! Конечно, она не хочет! Наташа вспыхнула и упорно молчала. Марья Сергеевна пытливо глядела на нее; ей было очень неприятно, что Наташа могла сердиться на человека так долго из-за таких пустяков. Это говорило уже о злопамятности.

– Ну, что же, хочешь? – переспросила она с еще большим раздражением.

Наташа упрямо глядела в свою тарелку.

– Я не могу, мне надо подготовиться, в среду экзамен.

– До среды долго – три дня осталось, еще успеешь! – холодно проговорила Марья Сергеевна.

– Нет, я не могу, я не успею, мне очень много нужно повторять.

Они обе точно старались превзойти одна другую в холодности тона.

Марья Сергеевна отодвинула стул и встала из-за стола.

– Ну, как хочешь, никто и не принуждает...

Наташа чуть заметно улыбнулась и, поцеловав ей руку, молча ушла в свою комнату.

По лицу Марьи Сергеевны пробежали сердитые тени.

Теперь уже она поедет во всяком случае! Хотя бы только для того, чтобы доказать избалованной девчонке, что на ее выходки никто не станет обращать внимания!

XI

На другой день Марья Сергеевна проснулась в каком-то радостном и возбужденном состоянии духа. Наташа еще рано утром ушла заниматься к одной подруге, и Марья Сергеевна, оставшись одна, нетерпеливо дожидалась вечера; ей так хотелось вырваться скорее из этой духоты.

День был страшно жаркий. Воздух давил свинцовой тяжестью. От домов и мостовых как бы веяло раскаленным жаром, и по ярко-синему небу ползли густые, тяжелые облака. Марья Сергеевна боялась, чтобы не собралась гроза, и тревожно поглядывала на небо.

Несколько раз она подходила к зеркалу. Сегодня она была особенно интересна, она сама это видела. Лицо пылало ярким, чрезвычайно красившим ее румянцем, в глазах поминутно вспыхивали блестящие огоньки, даже волосы легли как-то особенно красиво и, высоко зачесанные кверху, открывали изящную линию шеи, завиваясь возле нее в маленькие колечки, более светлые и золотистые, нежели волосы на темени.

Она не раз оглядывалась на часы и каждый раз с удивлением замечала, что прошло еще так немного времени.

Облака между тем, надвигаясь откуда-то с запада, заволакивали все небо, громоздясь и наползая друг на друга. Вдали прогрехотал вдруг отдаленный еще гром.

Марья Сергеевна нетерпеливо выглянула в окно: неужели-таки будет гроза? Впрочем, она, верно, скоро кончится, еще рано, это не помешает.

На улицах стемнело, стало как бы тише, и вдруг налетевший откуда-то ветер захлопнул в столовой раскрытое окно, опрокинув горшок с тоненькою пальмой и спустившись ниже к земле, поднял с мостовой сухую серую пыль, закружил, завертел ее тонким столбиком, изви-вавшимся несколько мгновений на одном и том же месте, потом, разогнав его широкой поло-сой, понес прямо вдоль улицы, залепляя глаза прохожих и лошадей.

В соседней комнате Феня, торопливо крестясь, захлопывала окна.

– Какая гроза-то будет! – сказала она, входя в комнату Марьи Сергеевны. – Окна запереть прикажете?

Марья Сергеевна полулежала на окне и, перегнувшись вперед всем телом, подставляла голову под тяжелые и редкие еще капли дождя. Ветер крутил и развивал вьющиеся прядки ее волос и освежал ее пылавшее лицо.

– Нет, нет, – сказала она Фене, слегка поворачиваясь к ней, – не надо, не запирайте... Я люблю...

Гром грохотал все чаще и ближе, молнии поминутно вспыхивали в разорванных свин-цовых облаках, сквозь которые местами еще прорезались клочки синего яркого неба. Воздух становился уже чище, и она с наслаждением глубоко вдыхала его всей грудью. Где-то, совсем близко над ее головой, раздался сильный удар грома. Дождь, падавший сначала тяжелыми и редкими каплями, вдруг зачастил и пошел сплошной стеной.

Улица вся разом опустела, все засуетилось, затолкалось и попряталось по разным подь-ездам, тщательно укрываясь дождевыми зонтами. Но налетавший сильный ветер вырывал из рук зонтики, срывал шапки и хлопал дверями.

Марья Сергеевна отошла наконец от окна. Косой дождь, заливая подоконник, попадал даже в комнату.

Нехотя заперла она окно, борясь с налетавшим ветром, который с силой вырывал раму из ее рук. Дождь совсем намочил ее, ветер растрепал все волосы, складки мокрого пеньюара холодили ей спину, а дождевые капли, падавшие с ее затылка, струясь, катились по шее... А Марье Сергеевне было и весело, и смешно.

– Феня, наверное, надуется за намокший пеньюар, скажет: опять надо перестирывать...

Но вошедшая Феня не сказала ничего, она только с удивлением оглядела свою барыню.
– Точно маленькая, прости, господи! – с презрением сказала она, входя в кухню и сердито бросая злополучный пенюар, который еще утром вышел из ее рук таким нарядным и наплюренным.

Кухарка, толстая, степенная и важная, с тем же презрением скосила рот в улыбку:
– Делать нечего...

Феня говорила правду. Марья Сергеевна, действительно, чувствовала себя совсем молодой, почти маленькой девочкой. Вся дремавшая сила молодости вдруг как бы разом проснулась в ней почему-то и закипела горячим ключом. Сердце билось тревожно, в груди что-то замирало, наполняя ее всю каким-то сладким ощущением.

Молнии еще изредка слабо вспыхивали в поредевших облаках, раскаты грома становились глуше, гроза уходила вместе с убежавшими вдаль темными серыми тучами. Голубое небо прорезывалось сквозь них все шире, и вдруг в одном лохматом, словно серебристой ватой отороченном облаке блеснул яркий луч солнца и, точно разорвав его, заискрился в глубокой синеве; через несколько мгновений яркое солнце снова блистало в расчищенном ясном небе.

Марья Сергеевна опять распахнула все окна. Улица вся вновь ожила, народ точно высыпал из всех тех нор, куда попрятался на время дождя. На мостовой образовались огромные, блестящие на солнце лужи, в которых отражались куски голубого неба. Проезжавшие экипажи перерезали их, и множество крупных брызг, высоко подпрыгивая и ярко блеснув на мгновение в солнечном луче бесчисленными искрами, разлетались во все стороны. Легкий ветер колыхал белые занавески в комнате Марьи Сергеевны, а стоявшие в корзинках душистые цветы пахли еще лучше в посвежевшем после дождя воздухе.

Был четвертый час; Марья Сергеевна переделалась и взяла какую-то работу после напрасной попытки читать: тысячи неуловимых мыслей мешали и перебивали ее чтение...

Через час пришла Наташа.

Подали обед, и они вместе сели за стол, но разговаривали мало. Натянутость, начинавшая было мало-помалу проходить, со вчерашнего дня опять усилилась между ними. Едва успели подать им послеобеденный кофе, как раздался сильный звонок. Марья Сергеевна слегка вздрогнула, а Наташа вдруг приподняла голову и пытливо взглянула на нее. Через минуту в соседней комнате раздалось поспешные шаги Вабельского. Марья Сергеевна сразу узнала его походку, она уже привыкла к ней. Но, чувствуя на себе упорный взгляд дочери, она невольно раздражалась; почему-то ей казалось, что Наташа нарочно так глядит на нее, наблюдая за нею, и яркая краска все гуще заливала ее лицо.

Вошел Вабельский, торопливо стягивая рыжие модные перчатки.

– А! Все в сборе! – весело заговорил он. – Ну и отлично! Я нарочно заехал пораньше – погода чудная! Здравствуйте, милая барышня, здравствуйте! Как ваши экзамены идут, благополучно ли?

Он говорил быстро и весело, здороваясь на ходу, и только на мгновение остановился перед Марьей Сергеевной, целуя ей руку.

Марья Сергеевна, бросив косой взгляд на дочь, заметила, что девочка вдруг вся вспыхнула и по лицу ее разлилось удивленно негодующее выражение.

– Так как же? Едем? – переспросил Вабельский, садясь подле них за стол. – Барышня, милая, едем? Да?

Он, кажется, не был уверен, что она поедет.

Марья Сергеевна выждала немного, точно желая дать время Наташе ответить, но, видя, что та молчит, поспешила сказать за нее сама:

– Поедем только мы с вами, Виктор Алексеевич, Наташе нельзя – у нее экзамены.

– Да? Как это жаль! Но, может быть, можно как-нибудь устроить? – слабо запротестовал он.

Наташа вдруг поднялась из-за стола и проговорила упрямым голосом:

– Нет, мне нельзя, я не поеду.

Мать бросила на нее опять быстрый тревожный взгляд и, точно желая вознаградить Вабельского за нелюбезность дочери, улыбаясь, протянула ему руку.

– Подождите меня тут, Виктор Алексеевич, я сейчас буду готова, только надену шляпу.

И, налив ему маленькую чашку кофе, встала из-за стола и прошла в свой будуар одеваться.

К ее удивлению, Наташа пошла вслед за ней и, не проходя в свою комнату, села в большое кресло возле туалета, как делала это, бывало, и прежде, когда хотела присутствовать при одевании матери; но теперь это почему-то стесняло Марью Сергеевну, и она сердито прикалывала к своим волнистым волосам шляпу, стараясь не глядеть и не обращать внимания на дочь, которая не сводила с нее упорного взгляда. Этот взгляд смущал Марью Сергеевну. Не будь тут дочери, она, прежде чем выбрала бы какую-нибудь шляпу и накидку, примерила бы несколько их, выбирая ту, которая больше бы пошла ей, но теперь что-то удерживало ее от этого, и она с нетерпеливым раздражением завязывала кружевные бороды шляпы в неладившийся у нее бант.

«Если она не хочет ехать, зачем же она сидит тут? Ясно, что она делает это нарочно!»

Феня также молча подавала накидку; она дулась на барыню еще с утра за пеньюар и потому не считала нужным разговаривать и советовать что-нибудь в отношении туалета. И эти две молчаливые фигуры выводили из себя Марью Сергеевну. Ей невольно припоминались другие вечера, когда, бывало, не только Наташа, но и Феня одевали ее с таким интересом, так старательно наряжали и прихорашивали ее.

Наконец ей удалось завязать шляпу, и, посмотрев на себя в последний раз в трюмо, она осталась довольна.

– Ну, до свиданья! – сказала она, подходя по привычке к Наташе.

Наташа приподнялась с кресла и холодно поцеловала ее.

Марья Сергеевна чувствовала себя не только раздраженной, но как будто и виноватой в чем-то. И это сознание сердило ее еще больше. Если из всякого пустяка делать «вопрос», то, конечно, можно отравить себе всю жизнь! Кажется, в том, что она едет кататься, – немного еще дурного. Не ее вина, если Наташа вздумает дуться на нее за всякую мелочь! Ведь ей же предлагают ехать вместе: что же она не едет!..

И, сердито застегивая пуговицы перчатки, она быстро прошла в столовую, где ждал ее Вабельский.

– Готовы? – спросил он, отходя от камина, у которого курил сигару, и смерил ее опытным и избалованным уже, но все-таки восхищенным взглядом ценителя и знатока женской красоты. Ей он не сказал ничего, но по глазам его она поняла, что очень нравится ему в эту минуту. И действительно, в своем светлом костюме, в шляпе из желтоватых кружев, с букетом бледных чайных роз, она была прелестна.

– Ну, до свиданья, барышня! – протянул Наташе руку Вабельский. – Очень жаль, что вы не едете...

Она молча подала ему свою, и в то время, как он сжимал ее, их глаза встретились с одинаковым выражением. Только у вспыльчивой и плохо еще умеющей владеть собой Наташи оно обозначилось сильнее и понятнее. В глазах ее так и вспыхнула ненависть. У Вабельского же это выражение только слегка скользнуло по углам насмешливо улыбавшегося рта.

«Ох, волчонок, не дорос ты еще тягаться со мной! – подумал он. – Куда тебе! Силенки не хватит, проиграешь!»

И он любезно, но сильно сжал ее маленькую ручку, и эта ручка вдруг дрогнула и вся похолодела в его руке, точно девочка инстинктивно поняла его мысль.

Когда Марья Сергеевна, поддерживаемая Вабельским, садилась в коляску, Наташа стояла у окна и глядела на нее. Марья Сергеевна улыбнулась и кивнула ей, но Наташа, словно

задумавшись, не заметила и не ответила ей, хотя и не спускала с нее глаз. И эти глаза, строгие, упрекающие и грустные, долго еще преследовали Марью Сергеевну пока они с Вабельским не выбрались наконец из городской толкотни и шума на Каменноостровское шоссе, где среди зелени и воздуха им обоим стало как-то легче.

XII

Когда они выехали за город, Вабельский вдруг повернулся в сторону Марьи Сергеевны и взглянул ей прямо в лицо смеющимися, веселыми глазами.

– А мне кажется... – начал он немного нерешительно, – Наташе можно было ехать, только ей не хотелось... Мне кажется, она просто избегает меня, право; вы не заметили?

– Нет, вы ошибаетесь, это просто так, она такая... такая дикая... странная... Впрочем, знаете, мне кажется, что наша ссора, действительно, оставила след... – заговорила вдруг она взволнованным голосом, точно сразу решившись. – Наташа уже не та, я это чувствую... Хотя внешне ничто не переменилось; она очень ласкова в большинстве случаев, о той размолвке ни я, ни она никогда даже и не упоминаем, но... Но все-таки это уже не то, – добавила она с грустной усмешкой, слегка вздыхая.

Вабельский серьезно смотрел на нее.

– Знаете, что я думаю, – начал он, – я думаю, что вопрос еще далеко не решенный, переменилась ли ваша Наташа вследствие той размолвки с вами, или это просто наступили такие годы. Мне часто приходилось слышать от многих матерей и отцов стереотипную фразу: «Ах, наша Манечка или Ванечка совсем уже не та, что прежде», то есть не такие, как были ребятами. Для родителей Манечка или Ванечка так и остаются тем маленьким существом, которое они помнят еще на руках няньки, «их ребенком», который и в двадцать, и в тридцать лет будет казаться и оставаться для них все тем же «ребенком». Понимание и многие ясные доказательства того, что этот ребенок мало-помалу вырос и выработался, так сказать, уже в «получеловека», повергают их в какое-то горестное удивление и недоверие, точно они хотят сказать: «Господи, да как же это, да когда же? Давно ли, кажется...»

Марья Сергеевна нетерпеливо откинулась в глубь коляски.

– Это очень печально, – заговорила она, – если перемена в наших детях будет заключаться только в их отчуждении от нас. Пока они малы и беспомощны, мы и душой, и телом сливаемся с ними в одно существо, нас не отталкивает от них разность ума, и мы их любим не меньше от того, что они глупее нас. А они! Они выросли и начинают вдруг чувствовать нас и глупее, и ниже себя! Но за что же? За что?

Вабельский как-то странно усмехнулся:

– Ну, это вы, положим, берете уж чересчур сильно. Я не говорил о пренебрежении, но мне кажется, что легкая отчужденность обязательно должна появляться. Они воспитываются и вырастают в иных условиях, чем вырастали и воспитывались вы; они будут жить с людьми, которых вы, быть может, никогда не узнаете; их взгляды, идеалы и даже сами привычки будут не те, что были у вас, потому что сам век, само общество будет отчасти уже иное! Многое, что будет дорого и близко им, будет чуждо и непонятно вам, и наоборот. Явится разъединение взглядов, вкусов, принципов, привычек, и во многом вы разойдетесь по разным дорогам и перестанете понимать друг друга... У меня самого есть отец, славный старик, он всегда живет в провинции, и видимся мы с ним довольно редко. Я очень люблю его, но жить бы с ним не стал, а говорить по душам, вот хоть бы так, как говорю с вами, не мог бы. Да и бесполезно: мы друг друга все равно не убедим, не поймем, и каждый из нас останется при том мнении, что другой не прав и говорит вздор. И, верите ли, были люди, совершенно чужие для меня, в сущности, но которые, право, казались мне ближе отца. С ними у меня было больше единства; мы лучше могли понять друг друга, а следовательно, были уже и ближе между собой.

Марья Сергеевна задумчиво слушала Вабельского. Он заметил ее грусть и заговорил более громким и беспечным тоном:

– Во всяком случае, это совсем еще не так грустно и даже не так близко еще...

– Нет, это очень грустно, – печально вымолвила она. – Я думала, что я всю жизнь буду ее другом.

Он засмеялся с добродушной насмешкой:

– Ваша Наташа, когда была маленькая, наверное, шла и еще дальше. Она, наверное, уверяла вас, что проживет с вами всю жизнь и выйдет замуж только за вас, чтобы не разлучаться с вами.

Она грустно рассмеялась, и в ее памяти промелькнули далекие вечера, маленькая комната с голубой лампой на столе, и маленькая же Наташа с разгоревшимся личиком, с заплаканными глазами, жалобно умолявшая ее не умирать без нее...

Марья Сергеевна тяжело вздохнула...

Где же все это? Неужели потеряно безвозвратно в ряду исчезнувших годов? И, вспоминая Наташу маленькой, толстенькой, смешной девочкой с большими глазенками, с обстриженными на лбу по-русски темными волосами, она невольно чувствовала, что та девочка была как будто и ближе, и милее ей, чем эта высокая, худая девушка с серьезным уже лицом, с холодными глазами...

– Еще несколько лет, – спокойно продолжал Вабельский, – и жизнь вполне раскроется перед вашей Наташей. Явится человек, совершенно чужой и, быть может, даже антипатичный для вас, но дорогой, близкий и милый для нее. Вы трепетали, пока она вырастала, просиживали мучительные, бессонные ночи, когда она бывала больна; тот человек не делал ничего подобного, и все-таки он пересилит вас и займет ваше место. Вы знали ее всю жизнь и даже прежде, чем она родилась; он... Он, быть может, будет знать ее всего какие-нибудь два-три месяца, а между тем она полюбит его не только так же, как и вас, но даже несравненно больше. Вы всю жизнь отдали ей; тот, быть может, только испортит ей жизнь, и все-таки будет для нее дороже, чем вы, со всей вашей любовью и жертвами.

Марья Сергеевна глядела на Вабельского с немим испугом. В каждом его слове она чуяла правду, и чем более осознавала ее, тем мучительнее рвало ее каждое его слово.

Вабельский точно понял ее.

– Быть может, я совершаю бестактность, напоминая вам все это, – я увлекся и совсем забыл, что говорю с матерью, страстно любящей своего ребенка... Ведь я сказал это, конечно, только в общем смысле, и, Бог даст, с Наташей никогда ничего подобного и не будет. В большинстве случаев это чисто физиологический закон природы... Взгляните на птиц, на животных...

Но Марья Сергеевна нетерпеливо рванулась вперед и резко прервала его.

Животные! Птицы! Да разве это то же, что человек? Какое ей дело до всего этого! Она знает только то, что этому ребенку она отдала всю себя, всю молодость, всю жизнь, всю любовь! Она не любила никогда и никого больше ее, и за все это ей сулят впереди отчуждение, разность взглядов, мыслей и возможность быть промененной на первого встречного. Ради него надо будет отходить в сторону от жизни своего ребенка и ступеньваться на сотый план! Ради него ее забудут, от нее отвыкнут и даже, быть может, бросят. Нет, это неправда, это ложь, и она не верит, не хочет, не может верить этому!

Глаза Марьи Сергеевны гневно блестели, и уголки рта судорожно вздрагивали. Вабельский искоса поглядывал на нее, чуть заметно улыбаясь в свои красивые светлые усы.

– Из этого следует, – заговорил он с ласковой насмешкой, – что не следует класть всю жизнь в чужую жизнь; надо оставлять что-нибудь и для себя. Оттого, что вы никогда не любили больше вашей дочери, даже мысленно не поделили вашей любви к ней с кем-нибудь другим, оттого, что вы убили всю молодость, лучшую часть жизни только на дочь, поверьте, ни вам

не будет легче, когда наступит ее время, ни ваша Наташа не постарается полюбить поменьше своего будущего супруга из благодарности к вашим лишениям. И если любимый ею муж не будет особенно благоволить к вам, то и она, постепенно и незаметно для самой себя, начнет охладевать к вам. Разве мало видим мы примеров, что очень нежные дочери по выходе замуж принимали всецело сторону мужа, глядели на все его глазами, слушали его ушами и кончали тем, что мало-помалу прерывали всякие отношения с прежней семьей, если муж этого хотел?

Конечно, Марья Сергеевна знала, что, по всей вероятности, ее Наташа выйдет когда-нибудь замуж, она думала об этом не раз и порой даже мечтала, как это произойдет. И это казалось ей так естественно, так обыкновенно, что нисколько не пугало ее. Но слова Вабельского открыли ей новую, совсем неожиданную сторону вопроса. И теперь это возмущало и пугало ее, как страшная, но легко исполнимая возможность. Какое-то неприятное чувство, точно озлобление, зарождалось в ней при этих мыслях против самой Наташи; теперь она уже предвидела возможность подобной вины в будущем со стороны дочери, и это заранее оскорбляло ее. Она сидела, глубоко задумавшись и почти уже не вслушиваясь в слова Вабельского. Ужаснее он ничего уже не мог сказать ей.

А он все еще что-то такое говорил.

– Все-таки славная, милая девчурка... Мы с ней еще друзьями будем, вот увидите, это ничего, что она меня теперь немножечко дичится, зато потом поладим.

– Вы думаете?

Марья Сергеевна тихо подняла голову и несколько мгновений задумчиво глядела на него. Нет, ей почему-то казалось, что Наташа с Вабельским никогда не поладит, и это было ей очень грустно. Она не понимала, почему девочка так очевидно сторонится и не любит его. Из всех людей, которых она знала, он был самый симпатичный для нее, ее невольно что-то влекло к нему и сближало с ним все больше и больше, а потому она желала бы, чтобы и дочь ее относилась к нему лучше. Они еще в первый раз так очевидно расходились в своих симпатиях; до сих пор в большинстве случаев бывало так: что не нравилось одной, не нравилось и другой, что любила одна, любила и другая.

Но Вабельскому уже надоело рассуждать о Наташе, и он нашел, что теперь гораздо интереснее настроить ее на более веселое расположение духа...

– Однако знаете что! – воскликнул он, смеясь. – Вместо того чтобы загадывать, что будет впереди, и заранее огорчаться и волноваться, мы с вами лучше выйдем из коляски и пройдемся немного по этой аллее. Смотрите, какой тут чудный воздух, так и хочется дышать всей грудью.

Они ехали уже по Каменному острову, и вечер был так тих, что листья на деревьях почти не шевелились, и только изредка легкий ветерок вдруг пробежал по веткам и, шелестя между ними, доносил откуда-то аромат цветущей сирени и тянул с Невы свежим, своеобразным запахом воды.

Марья Сергеевна охотно согласилась. Ей хотелось пройтись и развеяться немного от тех грустных мыслей, которые Вабельский невольно нагнал на нее.

Он подал ей руку, и они пошли прямо, вдоль береговой аллеи. Марья Сергеевна шла молча, любуясь догорающим закатом и причудливо разбросанными по всему небу розовыми облаками, отражавшимися целиком, точно опрокинутые, в застывшей глади реки, и на душе ее было как-то и грустно, и отрадно, и тревожно отчего-то...

На своей руке, лежавшей на его руке, она чувствовала его легкое и нежное пожатие, и это было ей приятно, хотя внутреннее чувство подсказывало ей, что это нехорошо и не нужно; но она не отнимала у него своей руки, хотя и старалась придать своему лицу холодное и сухое выражение.

– Ну, вечер так хорош, – сказал он, весело взглядывая на нее и невольно засматриваясь на ее тонкий изящный профиль, мягким абрисом выделяющийся на светлом фоне прозрачного

воздуха, – что, право, вам грех раскаиваться в том, что вы согласились хоть немного подышать чистым воздухом после вашей городской пыли.

– Я и не раскаиваюсь.

– Ну, и отлично, а у меня, кстати, явилась одна идейка. Вот тут, в конце острова, есть маленький ресторанчик...

Но он не успел еще договорить, как лицо ее приняло испуганное выражение, и она даже слегка отшатнулась от него.

– Ну, вот, – воскликнул он, смеясь, – я так и знал, что вы испугаетесь! Ну, можно ли быть такой институткой! Ведь это же ребячество.

Марье Сергеевне так редко приходилось бывать в ресторанах, что он, действительно, почему-то пугал ее и казался ей чем-то предосудительным. За всю свою жизнь она всего была там раза четыре-пять и то всегда с Павлом Петровичем, и идти туда без мужа ей казалось ужасно неловким. Но в то же время ее задевали насмешливые упреки Вабельского, она совсем не хотела казаться в его глазах какой-то наивностью и институткой; ей это было не только неприятно, но даже совестно; он мог подумать, что она нарочно рисуется перед ним и молодится, стараясь притвориться совсем неопытной, всего пугающейся девочкой.

– Нет, – сказала она смущенно, как бы оправдываясь, – я совсем не боюсь и не ребячусь, но... Но...

– «Но»?.. – повторил он с легкой насмешкой. – Ведь у женщин всегда найдется какое-нибудь «но»!

– Но я просто не люблю ресторанов.

– Любить рестораны и в кои веки раз случайно заехать туда – две разные вещи! Мы с вами просто заехали бы туда, заняли бы маленький столик в саду или на балконе, напились бы чая, я же, кстати признаться, очень плохо пообедал сегодня и потому закусил бы с большим удовольствием, поболтали бы, посидели бы на чистом воздухе и самым безобидным образом уехали бы домой. Ну, что тут странного или дурного, скажите на милость! Ах, барыня моя милая, совсем вы еще дитя, как я погляжу, – и он засмеялся, как смеются взрослые над каким-нибудь безосновательным страхом детей, и ласково пожал ей руку.

Марья Сергеевна слушала его молча, но с улыбкой, и в душе уже колебалась. Кроме того, что ей не хотелось казаться в его глазах родеющей всего институткой и хотелось сделать ему приятное своим согласием, ресторан еще манил ее, как что-то запретное и почти незнакомое ей. К тому же он сам признался, что голоден; положим, можно было бы пригласить его выпить чая и закусить после катанья к себе домой. Но это тоже как-то неудобно и неловко... Она готова была согласиться, но какой-то страх все еще удерживал ее, хотя она и говорила себе, что смешно и глупо бояться самых простых вещей и каждого пустяка.

Но Вабельский прервал ее сомнения, заговорив вдруг слегка обиженным и грустным тоном:

– Ну, не будем говорить об этом, если на это так трудно и страшно решиться. Мне обидно только одно: что вы так мало доверяете мне и можете думать, что я когда-нибудь решусь предложить вам что-нибудь такое, что может быть предосудительно для порядочной женщины! Вам, которую я так безгранично уважаю.

Марья Сергеевна сконфуженно вспыхнула, испугавшись и смутившись, что он мог заподозрить ее в таких мыслях. Ей было это очень неприятно. Она так безусловно доверяла ему и, уж конечно, не желала обижать его, а такое предположение легко могло задеть и оскорбить его.

– Нет, пойдете! – воскликнула она решительно, чувствуя себя перед ним ужасно виноватой. – Я ничего подобного не думала и если бы не доверяла вам так глубоко, то разве поехала бы с вами сюда, разве была бы так откровенна? Как могли вы это подумать?

– Я невольно должен был это подумать, – продолжал он все тем же грустно-оскорбленным тоном, – потому что иначе, право, трудно объяснить себе ваш страх и недоверие к таким, в

сущности, пустякам. Но хватит об этом. Если вы не хотите и сомневаетесь, прилично ли это, следовательно, никакой и речи быть не может...

– Да неправда! – воскликнула она горячо. – Совсем я не сомневаюсь и, напротив, пойду с большим удовольствием!

– Нет, дорогая барыня, я ведь знаю женщин: сначала согласятся, а потом будут мучиться да раскаиваться, да хорошо ли я сделала, да прилично ли это, ах, не вышло бы каких-нибудь сплетен и так далее. Право, – прибавил он, смеясь, – я совсем еще не так голоден, чтобы подвергнуть вас такой пытке!

– Ну, вот, – сказала она, сконфуженно улыбаясь, – теперь, значит, уже я должна вас просить!..

Он тоже засмеялся и опять крепко пожал ей руку.

– Ну, нет, – сказал он, повеселев, – этого, положим, не будет, уж если вы такая милая и великодушная, что даже решаетесь совсем расхрабриться, чтобы только накормить меня, то, уж конечно, я не заставлю себя долго упрашивать! Итак, идем!

– Идем, – повторила она смущенно, но весело.

Он крепко прижал к себе ее руку, и они пошли, болтая и смеясь гораздо веселее, чем сначала.

Когда они подошли к ресторану, который весной был самым модным и любимым местом петербургской публики, стекавшейся туда по вечерам после катанья на Стрелке, он был уже почти полон, и у подъезда стояло несколько экипажей.

Но на Марью Сергеевну, как только она подошла к подъезду, опять напали чувство страха и неловкость, и, почему-то боясь встретиться со знакомыми, она попросила Вабельского занять лучше маленький отдельный кабинет, чем сидеть в саду на виду у всей этой публики, невольно смущавшей ее.

Вабельского тут, по-видимому, все хорошо знали, и, как только они вошли, один из лакеев бросился к ним навстречу с той стремительной почтительностью, с которой они встречают обыкновенно уже давно знакомых им и щедрых гостей.

Марья Сергеевна тревожно поднималась по лестнице за Вабельским и поспешно бежавшим впереди татаринком с круглой черной головой и с широким безукоризненно гладко выбритым лицом.

Когда они вошли в маленький кабинет, выходявший окнами прямо на Неву, татарин, все с той же стремительностью, бросился сначала к Вабельскому, помогая ему снимать пальто, а потом к сервированному уже столу, блестящему своей белоснежной скатертью, наскоро обмахивая приборы висевшим у него на плече чистым полотенцем.

Когда Вабельский заказал ужин и вино и татарин убежал исполнять его поручение, он подошел к застенчиво сжимавшей перчатки Марье Сергеевне и с серьезным, почти строгим выражением лица крепко поцеловал ей руку.

– Это за то, что верите мне...

Она чуть-чуть покраснела и с улыбкой ответила на его пожатие.

– Ну-с, а теперь, милая трусиха, – перешел он опять на шуточный тон, – позвольте мне вашу накидку и затем будьте как дома! И помните, – прибавил он, смеясь, – что вы сами пригласили меня, а потому должны быть теперь любезной хозяйкой и занимать своего гостя.

Она смеялась, но чувствовала себя еще не совсем ловко. Такое чувство случалось ей, бывало, испытывать еще в детстве, когда, шалая, она знала, что это дурно и что ее за это накажут, и все-таки не могла удержаться и продолжала шалить.

Вся эта ресторанный обстановка, которую ей случалось видеть так редко, занимала и интересовала ее, и она с любопытством оглядывалась кругом, прячась за занавеси, выглядывала в сад, рассматривая сидевшую там публику. Ей было как-то и смешно, и забавно, и весело, и жутко на душе отчего-то.

Вабельский был тут завсегдатай и знал почти всех и, стоя возле нее, показывал ей разных своих знакомых, называя их имена, а про некоторых рассказывал даже целые биографии.

К своему удивлению, Марья Сергеевна увидела тут и нескольких своих знакомых даже среди дам, и это успокоило ее, тем более что общий вид всей публики был крайне порядочный и даже фешенебельный.

Она стала развязнее, смелее и весело шутила и смеялась, слушая Вабельского.

– Ну-с, а теперь сядем, – сказал он, когда татарин внес поднос с первыми закусками.

Вабельский велел придвинуть стол к самому окну, так, чтобы им были видны Нева и весь противоположный берег, казавшийся издали очень красивым и как бы утонувшим в садах и зелени.

Из сада им были слышны веселые голоса и смех сидевшей внизу публики, звон посуды и хлопанье пробок из бутылок, а с противоположного берега доносились звуки музыки и свистки проплывавших поминутно по реке небольших пароходиков.

И Марье Сергеевне во всем и во всех чувствовалось какое-то особенное, новое для нее оживление, невольно заражавшее и ее самое.

– А вот на Волге, – воскликнул Вабельский, вскрывая устрицу, – я часто вспоминал вас!

Она немножко удивилась:

– Почему?

– Видите ли, я попал туда как раз в самое лучшее время, во время разлива, а в это время Волга всегда необыкновенно красива. Вы никогда не были на Волге?

– Нет.

– Ну, это жаль – на ней стоит побывать. Я, знаете, совсем не сентиментален, но, бывало, как выйдешь на палубу парохода ночью, часа в два, так невольно замечтаешься. Кругом тишина такая, все спит, и только на берегах соловьи заливаются... Я, знаете, вообще довольно равнодушен к этим соловьям, но там они такие концерты задавали, что поневоле заслушаешься. Бывало, слушаешь, слушаешь их, и даже тоска какая-то вдруг охватит... Бог весть о чем и почему... Вот тут и вспомнишь, бывало, о вас, ведь вы, наверное, уж признайтесь, ужасно любите соловьев слушать?

Марья Сергеевна слегка смутилась, она старалась припомнить, слыхала ли когда-нибудь их, кажется, что нет.

– Не знаю... Кажется, я никогда их не слыхала... Он с удивлением взглянул на нее:

– Да неужели?

– Ведь мы весну проводим всегда в Петербурге, а на дачу переезжаем довольно поздно...

– Да вряд ли их много и водится на наших петербургских дачах! – сказал он насмешливо и вдруг о чем-то задумался и замолчал.

Марья Сергеевна тоже задумалась и молча смотрела в распахнутое окно на расстилавшуюся перед ней ширь реки... Рассказ Вабельского подействовал на нее, и Волга, с ее цветущими берегами, так живо рисовалась перед ее мысленным взором, что ее невольно охватило страстное желание побывать там, и какая-то неясная тоска напала на нее, и ее влекло куда-то, куда – она не знала еще сама, но дальше от этого Петербурга и от всех этих уже так наскучивших и надоевших ей мест...

– Скажите, – начал Вабельский, – вы всю жизнь жили безвыездно в Петербурге?

– Да, почти... – грустно отвечала она. – До замужества только, еще будучи совсем молодой девушкой, почти девочкой, я ездила с кузинами и теткой за границу. Но, вышедши замуж, я никуда уже не ездила – муж не любил уезжать из Петербурга, да и обстоятельства складывались все так, что что-нибудь всегда мешало нам ехать путешествовать.

Вабельский, пристально глядевший на нее, несколько минут сидел молча с каким-то странным, не то насмешливым, не то грустным, выражением лица.

– Скажите, – спросил он вдруг, – ведь вам, верно, есть уже тридцать лет?

Она немного смутилась и удивилась, не понимая, к чему он спрашивает об этом.

– Да, – сказала она, слегка краснея, – мне уже тридцать третий год!

– Ну, вот видите! – сказал он, как будто с укором не то к ней, не то к кому-то другому и вдруг воскликнул с каким-то горячим раздражением: – Прожить тридцать лет и ничего не испытать, ничего не узнать, не увидеть!.. Так всю жизнь пропустить даром и даже не заметить ее! Ведь вы даже и не любили еще никогда!

– Как я не любила?! – воскликнула она почти так же горячо, как и он, удивляясь в душе, зачем он говорит ей та кие вещи. – А Наташа, а муж?

Но Вабельский нетерпеливо передернул плечами и прервал ее:

– Ну, что там муж, Наташа! Да разве этого достаточно! Разве такая любовь нужна женщине, полной жизни и молодости? Разве такая любовь удовлетворит ее всю, наполнит все ее существование? Да разве та жизнь, которою вы живете, – жизнь? Разве те чувства, которые вы испытывали до сих пор, – любовь? Неправда! Никогда! Разве вы любили когда-нибудь страстно, безумно, забыв весь мир и все на свете, ни о чем не думая, не рассуждая и, быть может, даже мучаясь, страдая порой, но зато и наслаждаясь таким полным счастьем и восторгом, какое теперь вы даже и представить себе не можете? Ну, скажите же мне откровенно теперь, любили вы так когда-нибудь? Нет, я за вас отвечу, я знаю, что нет! А каждая женщина хоть раз в жизни должна так любить, иначе... Иначе ей не стоило и жить, не только родиться!

Она слушала его, пораженная и охваченная каким-то чувством стыда, жалости и боли к самой себе, и вдруг сознание – страшное, болезненное и мучительное для нее – что все это правда, впервые сделалось ей ясно и испугало ее.

К чему, к чему он говорил ей все это?

Она боялась и не хотела слушать его, боялась этого страшного сознания, впервые проснувшегося в душе ее так ясно и так горько.

Не надо, не надо говорить об этом, не надо думать об этом! И она хотела встать и прекратить этот тяжелый и пугавший ее разговор, но он, не давая ей опомниться, взял ее за руку и продолжал горячим голосом:

– Ведь у вас даже молодости не было, даже воспоминаний о ней никаких не осталось! А вот взгляните! – воскликнул он вдруг, крепко сжимая ее руку и привлекая к окну. – Взгляните на всех этих людей, их тут больше сотни, может быть, и верьте мне, что все они живут и наслаждаются! Все они чувствуют жизнь и знают ее, а не спят! И берут от нее все, что она только может им дать! А вы! Что вы взяли от нее? Скажите!.. А через семь лет ведь уже поздно будет!..

Она машинально глядела по направлению его протянутой руки, прислушиваясь к долетавшим к ним снизу смеху и говору, и во всех людях, сидящих там, ей действительно чудилось отражение кипящей в них жизни и любви...

Лицо ее пылало, рука, судорожно сжатая его рукой, ныла от боли, но она не замечала этой боли, а в сердце ее все мучительнее, все тоскливее поднималась другая щемящая боль и горечь... Она чувствовала себя чем-то словно обделенной и обиженной перед другими людьми, и собственная жизнь казалась ей такой бесцветной, ничтожной, и ей делалось страшно при мысли, что теперь уже все потеряно, и страстное, мучительное желание жить, любить и наслаждаться, как живут другие, как говорил Вабельский, охватывало ее все больше, и жгучие слезы уже готовы были брызнуть из ее глаз... Но она подавила их, тихо высвободила от него свою руку и опустилась в кресло, утомленная и разбитая тем страстным вихрем ощущений и желаний, вдруг налетевшим на нее...

Был уже двенадцатый час. Пурпурный закат давно уже потух, и раскиданные по небу облака из ярко-розовых превратились в белые и прозрачные, сквозь них кое-где мелькали бледные весенние звезды. Наступала белая майская ночь, с реки потянуло легкой сыростью, и публика стала постепенно разъезжаться.

Голоса в саду все затихали, и на несколько занятых еще столиков уже принесли свечи под стеклянными колпаками, вокруг которых кружились ночные мошки и маленькие бабочки, летевшие на огонь.

– Пойдемте... – сказала вдруг Марья Сергеевна, поднимаясь.

Лицо ее было бледно, но глаза горели сухим, горячим блеском.

Вабельский молча поклонился и, встав, достал ее накидку и все так же молча помогал ей застегивать ее, но на лице его блуждала чуть заметная торжествующая улыбка...

ХШ

Вернулись они в город далеко за полночь, и Вабельский, прощаясь с Марьей Сергеевной у подъезда, крепко сжал ее руку и, целуя, глядел ей прямо в глаза. Марья Сергеевна слегка покраснела и скользнула взглядом мимо его лица. Швейцар, услышавший звонок, уже отворял дверь.

– До свиданья... До завтра... – тихо проговорила она, все так же избегая его взгляда.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок, и фигура швейцара скрылась за зеркальными стеклами дверей вслед за ее удалявшимся силуэтом. Вабельский задумчиво постоял еще несколько секунд у подъезда, но затем беспечная и немного плутоватая улыбка скользнула по его лицу.

– Пошел! – крикнул он, вскакивая в коляску.

«А ведь она будет моею, и даже скорее, чем я ожидал!» – сказал он себе, самодовольно улыбаясь... Марья Сергеевна прошла в свой будуар.

– Барышня спит? – спросила она Феню.

– Спят.

Марья Сергеевна подумала, не зайти ли ей к Наташе, но потом решила, что будить жаль...

Она торопливо раздевалась, желая скорее остаться одной. Сновавшая взад и вперед Феня мешала ей думать и раздражала ее. Когда Феня наконец ушла, Марья Сергеевна устало опустилась на постель, уронив голову на подушки.

Она чувствовала себя очень утомленной и хотела бы скорее заснуть, но разные мысли бродили в ее голове и отгоняли сон... Весь этот день был для нее чем-то совсем новым, непривычным и невольно оставил у нее глубокое впечатление, и в этой тишине ночи она снова припоминала и переживала его. Подушка быстро нагревалась под ее воспаленной головой, и она беспрестанно переворачивала ее; одеяло душило ее, и она нетерпеливо сбросила его с себя, закинув руки за голову. Она чувствовала, что не заснет скоро, и это раздражало ее. Часы в столовой пробили два. Марья Сергеевна удивилась: «Как поздно!» и тут же подумала: «Как рано!» – впереди еще целая бессонная ночь...

Перед ней точно стояли красивые глаза Вабельского с тем самым выражением, которое было в них, когда, прощаясь у подъезда, он поцеловал ее руку. Даже смыкая веки, она не переставала их видеть: они вырисовывались перед ней так подробно, что она мысленно видела не только их цвет и выражение, но даже светлый отблеск в темном зрачке, легкую припухлость век и маленькие, чуть заметные красноватые жилочки в уголках... Она не хотела думать о них и старалась глядеть на что-нибудь другое, но они все-таки снова выплывали перед ней точно из какого-то туманного облачка и глядели на нее прямо в упор, красивые, смеющиеся и ласкающие... Потом мало-помалу обрисовывались и другие черты его лица, и через мгновение он вставал перед ней во весь рост. Она видела его движения, жесты, слышала его голос, слова, и вдруг какая-нибудь фраза вспоминалась ей так живо и отчетливо, что ей казалось даже, будто он снова произносит ее над самым ее ухом:

«Что взяли вы от жизни? Ничего. Любили ли вы когда-нибудь? Нет!»

Да, это правда, и в это мгновение сознательнее, чем когда-либо, чувствует она всю силу этой правды. Никогда, никогда она не любила, и вся ее жизнь, вся ее молодость промелькнула

перед ней тихо, бесстрастно и монотонно до такой степени, что она даже не заметила ее... Он сказал правду – нет даже воспоминаний! Все одинаково, ровно, сегодня – как вчера, и завтра – как десять лет назад! Единственные перемены, возможные для нее, – это перемена квартиры, дачи, платьев и прислуги.

А другие? Другие на ее глазах любят, живут, чувствуют жизнь... Другие хоть путешествуют, а она, смешно сказать, дальше Петербурга и его дач не видела ничего, не была нигде! Соловьи, разлив Волги, яблони в цвету... Что он там еще рассказывал?.. Смешно, глупо, пошло, но даже и этого она не знает, не видела, не слышала. Даже такие пустяки может представить себе лишь туманно, фантастически и неясно. «А через семь лет будет поздно!» Семь лет? А тридцать брошены даром! Проспала! Проспала!

И она злобно засмеялась, ломая над головой свои обнаженные руки.

О, лучше бы уж ей вечно спать! К чему пробуждаться, когда уже ничего нельзя вернуть? Зачем, зачем он говорил ей все это?

Она порывисто вскочила с постели и бросилась к окну – лежать она больше не могла, спертый воздух душил и мучил ее. Схватив на ходу длинный пеньюар, она быстро накинула его на себя и, путаясь в обвивавшем ее ноги шлейфе, кинулась на кушетку. На улицах еще стояла тишина, хотя было уже совсем светло. Только изредка сонно проезжал извозчик, и колеса дрожек еще долго потом гулко грохотали по мостовой, пока наконец не замирали где-нибудь в отдалении...

Часы в столовой опять пробили, но уже три часа.

О господи! Уж утро бы, что ли, скорее! Эта ночь, белая и недвижущаяся, раздражала и томила ее еще сильнее.

Она не заметила ее начала и не предвидела ее конца. Все одинаково светло и недвижно! И эта тишина... Точно ее жизнь, такая же однообразная. Так же, как и в этой ночи, она не могла припомнить начала ее, момента, с которого она начала жить, понимать жизнь, чувствовать ее; времени, с которого из ребенка переродилась в женщину. И так же не предвидела конца этой дремоте и прозябанию... А впереди! Что оставалось ей теперь впереди? Старость, которая подкрадется так же незаметно, как прошла и целая жизнь! Да что же и переменится тогда, в сущности? Разве только волосы да лицо? А жизнь, ее течение, чувства, даже самый ход ее – все останется то же!

Впрочем, правда, в будущем для утешения и разнообразия ей еще предстоит, как пророчит Вабельский, охлаждение Наташи, которая, влюбясь, променяет ее на первого встречного! Что же, пожалуй, за это и обижаться нельзя; по крайней мере не прозевает и не проспит, как мать! Хотя что-нибудь да переживет! А что касается матери, то какое же дело до этого будет Наташе? Вабельский прав, каждый живет для себя... Одна она не знала этого... И злое чувство поднималось в ней и против Наташи, и против мужа: они казались ей точно виноватыми в чем-то перед ней, и со злым раздражением она обвиняла их, подыскивая и вспоминая нарочно все, что могло бы увеличить в ее глазах их виновность еще больше. Муж виноват в прошлом, Наташа – в будущем.

Только к утру заснула, наконец, Марья Сергеевна, но сон ее был так же беспокойный, как вся эта ночь. Беспокойно мечась и вздрагивая, она поминутно бредила и стонала во сне...

XIV

Давно уже переехала Марья Сергеевна с Наташей на дачу. Стояла уже июльская жара, то и дело прерываемая сильными грозами. Зрел хлеб, и по вечерам в синем небе, усеянном звездами, поминутно вспыхивали красные зарницы. Зато вечером, когда спадал удушливый жар и наступала ночь, лунная, ароматная, темная, вся точно дышащая негой и страстью, Марья

Сергеевна выходила на балкон и подолгу засиживалась там, задумчиво всматриваясь в звездную синеву небес.

Вот уже скоро два месяца, как она была почти постоянно в каком-то экзальтированном состоянии. Она даже не могла решить, счастлива ли она страстным, безумным, захватившим всю ее счастьем или же несчастна, но несчастна ужасным, глубоким и непоправимым несчастьем, которое порой охватывало ее сознанием такого ужаса и горя, что она не видела и не умела найти себе ни оправдания, ни исхода. Мучительнее всего осознала она это в те редкие теперь минуты, когда ей случайно приходилось оставаться вдвоем с Наташей.

Оставаясь наедине с дочерью, она терялась и не знала, о чем говорить и как держаться с ней. Хотя Наташа не говорила ей ни слова, но Марья Сергеевна сознавала, что дочь не только понимает все, но и наблюдает за ней.

Марья Сергеевна влюбилась со всею страстностью тридцатитрехлетней женщины, еще никогда не любившей.

Порой, когда она спрашивала себя: как это началось, когда, с какого момента – она терялась и не знала сама; теперь ей казалось, что с первой встречи она уже любила его, ей казалось даже, что она всю свою жизнь инстинктивно ждала его...

Если в начале их знакомства она не осознала еще ясно своей любви к нему, то теперь уже была уверена, что с первого же момента поняла ее роковую неизбежность, и, только испугавшись этой мысли, обманывала самое себя, уверяя, что относится к Вабельскому только как к другу. Потому-то и антипатия Наташи к нему так задевала и раздражала ее на первых порах. Теперь Марья Сергеевна понимала все это и уже не боролась со своим чувством. Она отдалась увлечению сполна и, сознавая внутренне весь его ужас, нарочно закрывала глаза и старалась не думать ни о чем и все забыть. Будь что будет, но бороться больше она уже не могла и не чувствовала в себе силы противостоять своему чувству и своему падению. Но чем сильнее осознала она свою вину, чем больше видела препятствий, тем больше любила наперекор и рассудку, и закону, и всему миру. Вне этой любви для нее не существовало ни жизни, ни интереса. Она стала холодна и безучастна ко всему, что не касалось Вабельского и ее чувства к нему. Она вспыхивала и смущалась при его имени, как шестнадцатилетняя девушка, и, думая о нем, вспоминая его ласки, слова, поцелуи, замирала в сладком восторге. Она любила даже все то, что принадлежало ему, чего касался он. Даже его черного пуделя она ласкала с особенною нежностью, потому что это была *его* собака. Его перчатка, платок, книга, запонка – все казалось ей чем-то священным и дорогим.

Бывали минуты, когда холодность с ним Наташи оскорбляла и возмущала ее до такой степени, что ей даже начинало казаться, что она перестает любить своего ребенка.

Тогда невольный ужас охватывал ее: неужели она дойдет даже до этого?! На мгновение в ней просыпалось раскаяние, и даже вновь рождалось желание бороться с охватившим и порабовавшим ее недугом. В эти минуты ее любовь казалась ей преступлением до такой степени безобразным, что ее охватывало бесконечное презрение к самой себе.

«Как могла я? Как могла?..» – спрашивала она себя, и какой-то священный страх не только перед мужем, Наташей и самой собою, но и перед Богом овладевал ею.

Она хотела молиться о спасении, о прощении – и не могла. Она не дерзала обращаться с молитвой к Богу и в ужасе ждала себе возмездия и наказания.

Вабельский смеялся над ней, если она повторяла ему свои «страхи», как он выражался, и, называя ее «своею институточкой», советовал смотреть на вещи проще и спокойнее.

– Весь мир делает то же самое, и, однако, никаких несчастий не происходит. К чему же волноваться и мучиться по пустякам, все это излишняя впечатлительность, которую нужно сдерживать, иначе можно ведь и до сумасшествия дойти.

Он утешал ее со снисходительной улыбкой старшего, успокаивающего ребенка.

– Не надо делать себе горя там, где, в сущности, можно найти много счастья!

Пока он был подле нее, пока она чувствовала его присутствие, ласки и любовь, она невольно забывала весь мир и соглашалась с ним, что это, действительно, только счастье. А если это счастье и даст ей впоследствии горе и позор, так разве оно не стоит того, чтобы ради него вынести все, пожертвовать всем? Пусть потом обрушатся на нее все несчастья, пускай даже «там» не получит она прощения, лишь бы теперь не отнимали у нее ее счастья... Но он уходил, и она опять оставалась одна, не смея пойти к дочери и избегая даже посторонних людей...

Ей казалось, что все знают про ее падение, все порицают ее, и в каждом лице, в каждом слове и взгляде она находила что-то подозрительное, укоряющее и презрительное.

И, боясь убедиться в этом сильнее, она избегала всех знакомых и старалась даже не выходить днем, предпочитая оставаться одна, – так ничто не мешало ей думать, мечтать о нем и снова все переживать. Но в длинные, бессонные ночи тоска и страх снова нападали на нее. Она стала бояться темноты, и на ночь ей зажигали лампаду перед висевшим над ее кроватью старинным образом Нерукотворного Спаса, которым ее благословил отец перед смертью, когда она была еще совсем маленькой. С этой иконой она не расставалась никогда, но теперь, вглядываясь порой в темный лик в почерневшей от времени ризе, ей начинало казаться, что он точно оживает и, обливаемый трепетным светом лампы, судит и карает ее своим строгим взором. И она вся холодела в ужасе, закрывая глаза и тревожно прислушиваясь к малейшему шороху.

Но начинало светать, золотистые лучи проникали сквозь белые шторы и освещали комнату. Дневной свет успокаивал ее нервы, и ночной ужас и страх рассеивались вместе с последней тенью ночи.

Тогда порой на нее нападало вдруг озлобление.

К чему она мучает и терзает себя вместо того, чтобы просто любить и наслаждаться? Разве мало знает она жен, изменявших мужьям, и не только с одним, но увлекавшихся многими; ее же собственные приятельницы признавались ей и поверяли ей разные интриги не только без укоров совести, но даже с некоторым удовольствием, и, вместо раскаяния перед мужьями, их же презрительно называли дураками, а о детях даже и не думали и отнюдь не считали себя виновными перед ними в чем-нибудь. И если бы кто-нибудь сказал им это, они, наверное, отвечали бы:

«Вот глупости! Какое же дело детям? Одно другому не мешает. Еще мужья – это пожалуй, но и они должны винить только самих себя, никто не виноват, что они глупы и не умеют удержать навсегда нашу любовь».

А она... Порой она готова убить себя! Кто же вернее смотрит на жизнь – она или эти приятельницы?

Конечно, она сознавала, что Павел Петрович не дурак, в этом не было его вины, но в минуты озлобления она находила ему другую вину. Не он ли виноват, что ее чувство к нему не разрослось в такую же глубокую любовь и страсть, какую теперь она любит другого? Она всегда была той же, что и теперь, но он сам искусственно заставлял ее дремать. Кто же виноват, что другой разбудил ее? Быть может, любил и он всей полнотой жизни в двадцать пять, в тридцать лет, а к ней пришел уже успокоившийся и бесстрастный! И женился на ней не для любви и жизни, а для успокоения от всех страстей и бурь. Подумал ли он тогда о ней? Подумал ли, что ей только семнадцать лет, что она-то ведь и не начинала еще жить и что рано ли, поздно ли натура потребует своего? Конечно, он забывал о ней и думал только о себе, об устройстве лишь своего жизненного комфорта. А если он любил и жил, то почему же она не имеет на это права? Остается Наташа... Но и у Наташи будет своя жизнь, свои увлечения, свои чувства, и если она обвиняет ее теперь, то когда-нибудь, полюбив сама, верно, поймет и простит свою бедную мать.

Время быстро летело, июль был уже на исходе, и Марья Сергеевна тревожно поджидала мужа, как вдруг в одном из писем он уведомил ее, что дела осложнились, приходится продлить командировку и раньше конца августа ему не вернуться.

Марья Сергеевна радостно вздохнула: сама судьба за нее, еще немного отсрочки, еще лишний месяц никем не тревожимого счастья.

Она перечитала еще раз письмо, точно все еще не веря ему, и улыбка, слегка насмешливая и презрительная, искривила углы ее губ. Уже давно начала появляться у нее эта улыбка при чтении писем Павла Петровича. Их тон, всегда немного деловой и торопливый, где единственными ласковыми словами были обычные фразы в начале: «милая Маня», и в конце: «обнимаю тебя и Наташу, и остаюсь любящий тебя муж, П. Алабин», раздражали теперь Марью Сергеевну. Она осознавала, что этот человек, несмотря на все свое неумение выражаться нежно и страстно, в душе все-таки любил и ее, и Наташу. Но какой серенькой казалась ей теперь его любовь в сравнении со страстью Вабельского!

Марья Сергеевна нехотя садилась отвечать ему и писала тем обыкновенным слогом, каким в большинстве случаев переписываются жены с мужьями после пятнадцатилетней совместной жизни. В прежние годы она не замечала его «чиновничьего тона» и сама не терялась в своих письмах к нему. И теперь еще, по привычке, писала она ему о разных мелочах и переменных в доме: о том, например, что переменяла кухарку, которая стала сильно пить, что отдала перекрыть мебель в гостиной, что получила письмо от тетки и подписалась на новый журнал, исполнила все его поручения, и т. д. Только письма ее стали более натянутыми, так как, не зная, о чем писать, и боясь обмолвиться хоть маленьким намеком, она нарочно подбирала разные хозяйственные мелочи и старалась скорее закончить письмо, подписав привычную ей фразу: «Я и Наташа крепко целуем и обнимаем тебя. Да сохранит тебя Господь! Твоя жена, М. Алабина».

И, запечатав наконец конверт, она с облегчением вздыхала, думая о том, что целую неделю ей не надо будет опять лгать и мучиться над составлением ему письма.

Зато, словно в утешение и награду себе, она писала Вабельскому, переполняя все письма к нему страстную любовью, нежными именами и ни на одну секунду не задумываясь, «что дальше». Впрочем, ей недолго пришлось писать ему. Вабельский скоро переехал на дачу по соседству с ними.

XV

Переехав на дачу, Вабельский стал проводить у Алабиных почти все время. Это было тем удобнее для него, что летом обычно дел у него бывало всегда меньше.

С этих пор для Марьи Сергеевны настал лучший период ее счастья. Видя Вабельского почти постоянно около себя, она забывала и страх, и мучения совести. Даже сознание, что его частое присутствие может ее скомпрометировать, не останавливало ее.

Тем не менее даже в собственной прислуге Марья Сергеевна подмечала что-то новое: какие-то двусмысленные и таинственные улыбочки. Феня говорила теперь про Вабельского не иначе, как «наш барин», и если ей случалось передавать Марье Сергеевне какие-нибудь записки от него или обратно, то она всегда принимала такой таинственный и странный вид, что Марья Сергеевна невольно вспыхивала и конфузилась, а Вабельский поспешно давал на чай.

Но все это были еще мелочи, которые лишь слегка отравляли ее счастье. Главное было впереди и должно было начаться с приездом Павла Петровича. И, предчувствуя близость этого «главного», Марья Сергеевна спешила воспользоваться оставшимся ей уже недолгим свободным временем и выпить до дна свою чашу любви и счастья, стараясь не замечать и обходить как-нибудь все, что отравляло и затуманивало это счастье.

С тех пор как Вабельский переехал на дачу, Марья Сергеевна стала энергичнее и, слушая его советы, невольно подчинялась им, заражаясь отчасти его взглядами. Даже к натянутым отношениям с дочерью, которые так мучили ее сначала, она мало-помалу привыкла и уже меньше обращала на них внимания. Чем больше проходило времени, тем горячее привязыва-

лась она к Вабельскому. Если в начале их любви на нее порой и находили еще сомнения, и она не отдавала отчета себе, долго ли это продлится и будет ли это полным переворотом в ее жизни, то теперь она уже ясно осознавала, что прекратиться это может только с ее смертью. Она чувствовала, что разлюбить его уже не в силах.

Что касается Вабельского, то в начале его ухаживанья за Марьей Сергеевной он глядел на их отношения не более, как на обыкновенную интригу, которыми пересыпана была вся его жизнь, хотя в то же время самая трудность победы над ней отчасти осложняла их, бросая на них некоторую тень серьезности. Ответственность и значение их были все-таки больше, чем со всеми остальными женщинами, с которыми до сих пор у него были романы. Сама многочисленность этих романов заставляла его относиться к ним легко и поверхностно, не делая из них «вопросов жизни».

Не желая жениться, он никогда не ухаживал за девушками из опасения «быть пойманным» и, избегая продолжительных и серьезных связей, старался всегда благоразумно сдерживать свое увлечение и увлекаться лишь настолько, насколько это нравилось ему самому, не мешало делам и не изменяло хода его жизни. Но при всей легкости своих взглядов на женщин он в то же время очень любил их по привычке и скучал, если в какой-нибудь период его жизни не случалось никаких интриг.

Вабельский находил, что все женщины более или менее одинаковы и что в каждом слое общества есть и хорошенькие, и интересные, и что, следовательно, гораздо благоразумнее выбирать тех, которые сами были более удобны для подобных отношений. Почти за всю его жизнь ему ни разу не случалось еще ухаживать за вполне порядочной женщиной. Он знал, что ни у одной из своих любовниц он не был ни первым, ни последним даже любовником, и это знание упрощало его отношения с ними. С Марьей Сергеевной у него с самого начала пошло дело не совсем так, как всегда. Но если он и знал, что с этой женщиной придется, пожалуй, «повозиться», как он мысленно говорил, подольше, чем с другими, то, во всяком случае, отнюдь не предполагал, что эта связь может сделаться постоянной, серьезной и совершенно перевернуть спокойное и приятное течение его жизни. А пока некоторая доля серьезности в ней и в их отношениях слегка даже нравилась ему. Он чувствовал себя уже уставшим и пресыщенным всеми своими легкими похождениями.

Хотя дел у него как у одного из самых модных и блестящих адвокатов в столице было множество, и куши за эти дела он получал порой огромные, но денег у него никогда не водилось. Зато его квартира, в которой он проводил только ночи да часы приемов, была одной из самых шикарных в Петербурге, рысаки – одни из лучших в городе, и даже женщин он предпочитал именно тех, которые дороже стоили. У него на все образовался какой-то особенный вкус, что и было главной причиной его частого безденежья.

Марья Сергеевна не только не стоила ему ничего сама по себе, но, сойдясь с ней, он и жить стал гораздо тише. Не требовалось безрассудного бросания денег на ветер. И эта «передышка», как он мысленно называл свои отношения с ней, ему очень нравилась. «Отчего бы и не поскромничать полгодика?» – говорил он.

Ее красота всегда сильно возбуждала его, а под влиянием своей любви к нему Марья Сергеевна, казалось, похорошела еще больше. Эта страстная любовь, переходившая порой в какое-то безумное обожание, не только нравилась, но и льстила ему. Вабельский был красив, ловок и умен в модном смысле слова, а потому увлечение им женщин не было для него новостью; но сколько он ни припоминал, так глубоко, искренне и бесконечно его не любила еще ни одна, и, несмотря на то что страстное обожание Марьи Сергеевны временами даже смешило его, но чаще оно трогало его и удивляло, рождая и в нем самом невольно больше нежности и уважения к ней.

Больше всего в их отношениях ему не нравилась Наташа. Он находил, что без нее было бы лучше и спокойнее; девочка, положительно, мешала и чаще всего остального вызывала в

матери упреки совести, раскаяние и слезы, всегда немного скучноватые для него. Он старался предугадать поведение Наташи по возвращении Павла Петровича и слегка побаивался, как бы она не испортила им чего-нибудь.

Это возвращение, долженствовавшее последовать очень скоро и гораздо скорее того «полгодика», который определил себе мысленно Виктор Алексеевич, не совсем-таки улыбалось ему. К тому же решение о полугоде он отчасти уже изменил.

«Сколько проживется...» – неопределенно решал он.

Вабельский думал, что экзальтированная, не привыкшая к фальши и подобным положениям Марья Сергеевна не сумеет вести дело так, чтобы не прерывать отношений ни с мужем, ни с любовником. И это немного тревожило и беспокоило его. Он надеялся только на свое влияние на нее, которое заставит ее следовать его советам и тем предотвратит кое-какие опасности, хотя ему, уже давно привыкшему к подобным вещам, эти опасности казались гораздо менее серьезными, нежели ей. При мысли о возвращении мужа ее охватывали какой-то беспомощный ужас и страх.

– Что нам делать? Что нам делать! – с отчаянием спрашивала она его.

Вабельский пожимал плечами.

– Прежде всего, не волноваться и, главное, не делать драм из того, в чем можно обойтись одной комедией.

Но на этот раз Марья Сергеевна не вполне соглашалась с ним. В своем чувстве и поступках она не могла видеть только «комедию». И это слово было не только непонятно ей, но и больно.

– Во всяком случае, Маня, если ты будешь только плакать да мучиться, ни тебе, ни мне, ни даже твоему Павлу Петровичу легче от этого не станет. Нужно устроиться так, чтобы хоть он, по крайней мере, не мучился, то есть нужно только, чтобы он ничего не знал. А это вполне зависит от тебя – сумей продлить его неведение, а остальное уже будет легко.

Но Марья Сергеевна тоскливо вздохнула; ей это совсем не казалось легко.

XVI

Однажды вечером Марья Сергеевна получила телеграмму и, еще не распечатывая ее, уже догадалась, от кого эта депеша и что несет в себе; но, точно желая обмануть себя и продлить свое мнимое неведение, она молча держала ее в похолодевших дрожащих руках, не решаясь сразу распечатать.

Феня спокойно стояла рядом, ожидая расписки, и поднявшей на нее испуганные глаза Марье Сергеевне показалось, что горничная нарочно стоит тут и внутренне посмеивается над ней.

– Где же огонь, дайте лампу! – нетерпеливо окликнула она ее.

Феня молча повернулась и вышла в соседнюю комнату, а Марья Сергеевна осталась одна в темной гостиной.

«Да, я знаю, что в этой телеграмме! – думала она, глядя сухими, горящими глазами куда-то в угол комнаты. – Это конец... конец всего... И завтра начнется что-то новое... Отвратительное...»

Феня внесла лампу и поставила ее на стол перед барыней.

Марья Сергеевна прочла:

«Буду завтра с почтовым. Алабин».

– Да, это конец...

И вдруг ей показалось, что она никогда не предугадывала этого конца... Ей, ежедневно ожидавшей этой телеграммы и возвращения мужа, казалось теперь, что она никогда не ждала его так скоро.

– Во всяком случае, не завтра... Я знала, конечно, что это будет, что это должно быть, но не завтра же...

– Расписаться нужно-с, – напомнила Феня.

Марья Сергеевна тряхнула головой и взяла перо. На мгновение ее глаза встретились опять с усмевающимися глазами горничной, и в ней проснулись гордость и самообладание.

– Завтра барин приедет, нужно приготовить комнату, – сказала она, сама внутренне удивляясь естественному, верному звуку своего голоса.

– Боковую?

– Да... Протопите хорошенько, пожалуй, холодно будет.

– Слушаюсь-с...

Феня ушла, взяв расписку.

Марья Сергеевна порывисто поднялась с кресла и быстро вышла на балкон. Весь день шел дождь, и дорожки сада тускло блестели от света, падавшего на них из освещенных окон. На дворе было холодно от той особенной сырости, которая нередко бывает в конце августа и начале сентября, но лицо Марьи Сергеевны горело ярким румянцем.

Вабельский обещал прийти только к девяти часам, но теперь ей хотелось видеть его и показать ему телеграмму сейчас же, она не знала только, как это сделать.

Послать записку...

Но, вспомнив усмевающееся лицо Фени, Марья Сергеевна отказалась от этой мысли.

Сама она избегала бывать на его даче, но в данном случае это было удобнее всего. Только дома ли он?..

В конце сада была аллея, с которой днем были видны окна дачи Вабельского. Она вспомнила про это и, осторожно подобрав одной рукой платье, а другой плотнее запахивая на груди оренбургский платок, пошла в ту сторону. Тяжелые намоченные ветви кустарников и деревьев, нечаянно задеваемые ею, ударили ее по лицу и спине, оставляя после себя мокрый охлаждающий след.

Она торопилась и волновалась так, как будто это мучившее ее «завтра» наступит сейчас же, прежде, чем она успеет предупредить его, и, опершись одной рукой на решетку забора, она приподнялась на цыпочки, стараясь сквозь чащу деревьев и темноту ночи различить его окна. Но они были ярко освещены, и она сразу узнала их.

Дома!..

Слегка вздрагивая от пронизывающей сырости, Марья Сергеевна быстрым и осторожным шагом пробиралась по мокрой траве и скользким от дождя дорожкам к маленькой калитке, из которой был выход прямо на улицу. Вернуться домой и пройти через комнаты она боялась, хотя оттуда было ближе; там ее могла увидеть Наташа и задержать ее, начав расспрашивать что-нибудь о телеграмме. И она шла скорым шагом, с тревожно бьющимся сердцем, радуясь этой темноте и дурной погоде, которые ограждали ее от свидетелей...

Виктор Алексеевич сидел за письменным столом и, низко наклонив свою курчавую голову, освещаемую большой кабинетной лампой, разбирал какие-то бумаги, когда Марья Сергеевна быстро вошла к нему, запыхавшаяся и покрасневшая от ходьбы и волнения.

– Маня? Вот сюрприз!

Он с улыбкой поднялся ей навстречу.

– Он приехал... – проговорила она тихим, упавшим голосом.

Виктор Алексеевич слегка вздрогнул и с недоумением остановился на полдороге.

– Когда же? – тихо спросил он.

Слово «приехал» поразило и его. Она молча вместо ответа протянула ему смятую телеграмму.

Вабельский быстро пробежал глазами листок.

– Да ведь завтра же... – сказал он, с недоумением взглядывая на нее.

Она молча кивнула.

– А ты сказала «приехал»! Я думал, что он уже тут...

Марья Сергеевна нетерпеливо передернула плечами:

– Ах... Не все ли равно... Завтра... Сегодня... Одно и то же...

Вабельский еще раз перечитал телеграмму и, даже перевернув ее, посмотрел на оборотной стороне адрес, как будто все еще в чем-то удостоверяться и в первую минуту не зная еще сам, что предпринять, как держать себя и что сказать.

– До завтра... – машинально сказал он.

Марья Сергеевна вздрогнула, и это слово, выговоренное им самим, показалось ей еще ужаснее и мучительнее, и она вдруг опустила на кресло и, закрыв лицо руками, глухо зарыдала.

Виктор Алексеевич терпеть не мог женских слез; они всегда как-то странно действовали на него; при виде их он и сердился, и терялся в одно и то же время.

– Боже мой... Боже мой... – повторяла она между рыданиями. – Что делать, что делать?!

Вабельский сердито заходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, как всегда делал в минуты сильнейшего раздражения. Слезы Марьи Сергеевны, ее отчаяние, ужас и страх невольно сбивали с толку, как он говорил, и его самого. До сих пор его романы не отличались особым драматизмом, и в подобных случаях дело обходилось и просто, и легко. А тут, при виде ее измученного лица и слез, ему и самому все это начинало казаться чем-то очень сложным, как будто он в чем-то так запутан, что не может и не умеет даже найти выход.

– Ну, полно же... – проговорил он наконец, подходя к ней.

В глубине души он все же чувствовал к ней некоторую нежность, и ему было ее жаль. Он ласково отвел ее руки от заплаканного лица и поцеловал их ладони.

Она тихо всхлипывала, положив голову ему на плечо и изредка поднося его руку к своим губам.

– Ведь мы и раньше ожидали этого, пугаться особенно нечего...

Марья Сергеевна смотрела на лампу, на письменный стол с портретом какой-то тетки, на его дорогую ей руку, лицо... И мысль, что им придется лгать, притворяться, изворачиваться, наполняла ее и горечью, и стыдом, и отвращением.

– Теперь все кончится... – высказала она вслух свою мысль, думая о том, что в их отношениях кончится все хорошее, что она так любила, что было ей так дорого.

– Э, глупости! Ничего не кончится, если ты сама не испортишь всего.

Он долго и много говорил ей, хотя и не был уверен, понимает ли она его и сумеет ли исполнить свою роль согласно его плану, и внутренне досадовал на нее: точно как ребенок!.. Даже странно, женщина, а хитрости ни на грош!

Ему редко приходилось «учить» своих подруг, а если и случалось наставлять более неопытных, то ученицы схватывали всю премудрость на лету и выучивались с первого же урока. «А эту бог весть когда надоумишь!»

И он с легким раздражением искоса взглядывал на нее. Она сидела на диване, тяжело опершись головой на одну руку. По ее точно вдруг осунувшемуся лицу разлились желтоватые болезненные тени, а полная фигура ее, тяжело и неграциозно согнувшись, и даже самое лицо, обычно такое прелестное, в эту минуту показались ему некрасивыми и непривлекательными.

«Теперь дурнеть еще начнет! – подумал он с неудовольствием. – Начнутся эти вечные слезы, упреки, терзания, и через год, глядишь, старухой будет... Нет, все-таки эти тридцатилетние женщины ужасно непрочны в своей красоте, держатся-держатся, да вдруг разом и поблекнут».

– Во всяком случае, ужасного еще ничего не случилось, да, быть может, и вовсе ничего особенного не случится, – сказал он, ходя из угла в угол.

– Ты думаешь... – Марья Сергеевна тихо подняла голову и с тоскливою задумчивостью взглянула на него. – А я... боюсь... Что впереди нам, быть может, предстоит нечто еще более ужасное...

Вабельский остановился и тревожно посмотрел на нее. В ее словах ему послышалось что-то подозрительное, что вдруг как-то неприятно подействовало на него.

– То есть что же это... Нечто еще более ужасное?..

Марья Сергеевна молчала, не глядя на него, как будто нарочно избегая его взгляда, и в ее лице было что-то странное, страдающее и недосказанное.

Вабельский все тревожнее и пытливее смотрел на нее.

– Маня... Что же...

Она нервно хрустнула пальцами и вдруг быстро встала с дивана.

– Ах, я не знаю еще...

И, отойдя в самую глубь комнаты, наклонилась над стулом, поднимая с него свой платок, так что все ее лицо находилось в тени, а Виктор Алексеевич не мог рассмотреть не только его выражения, но даже плохо различал сливавшиеся в полусвете черты его.

Она знала, что он не видит ее, и в эту минуту это было для нее приятно. Она чувствовала какое-то странное состояние в душе. Ей было стыдно мучительным, тяжелым стыдом и от того, что она угадывала в себе, и от того, что должна была высказать ему вслух мысль, при которой вспыхивала даже наедине сама с собой. Ей было горько и обидно инстинктивное понимание, что ему это неприятно, и в то же время где-то в самой глубине ее души шевелилось теплое и радостное чувство. Сознание, что она может быть беременной, охватывало ее ужасом и отчаянием, но мысль, что это будет его ребенок, невольно умиляла ее.

Наконец она завернулась в свой платок и подошла к нему. Он стоял все так же угрюмо и сумрачно, опершись на край стола. Марья Сергеевна тихо провела рукой по его лбу и, отстранив с него курчавую прядь волос, взглянула ему прямо в глаза...

Да, он не хочет... Ему неприятно это... Но...

Но в эту минуту она как бы чувствовала в себе часть его существа, и это делало и его самого таким близким и дорогим ей, что она невольно прощала ему все, и даже само его недовольство и нежелание, всегда так мучительно обидное и горькое для женщины... И, прощая ему все, бесконечно любя его, она взяла его руку и горячо поцеловала ее.

XVII

Вернувшись от Вабельского около девяти часов, Марья Сергеевна прошла прямо к себе в комнату. Виктор Алексеевич обещал все-таки прийти к ним к девяти часам пить чай.

Наташа была в своей комнате. Марья Сергеевна понимала, что тянуть больше нельзя, и нужно сказать дочери сейчас же, что завтра приезжает отец. Она поднялась наверх, к Наташе, и тихо отворила дверь.

– Ты все учишься? – спросила Марья Сергеевна только для того, чтобы начать как-нибудь, но голос ее звучал ласковее, чем обычно в последнее время.

Несмотря на ощущаемые ею смущение и неловкость, она в эту минуту, морально смягченная, чувствовала и к дочери прежние теплоту и нежность. В своем страдании и смятении все ее существо инстинктивно требовало утешения и ласки. И, подойдя к дочери, она нежно прижала к себе ее голову и горячо поцеловала в лоб.

– Завтра придет папа, – тихо проговорила она.

Наташа вздрогнула и взглянула на мать испуганными глазами.

– Папа? – тихо повторила она.

Марья Сергеевна кивнула, и несколько мгновений они молча глядели в глаза друг другу, внутренне сознавая, что каждая из них хорошо понимает всю важность его возвращения

«теперь», и Марье Сергеевне казалось, что эти милые глаза, затеплившиеся вдруг такой любовью и нежностью, сейчас заплачут; ей невольно вспомнилось, как несколько лет назад она сильно обрезала себе руку и как стоявшая тогда возле нее Наташа, молча, с ужасом глядела на эту руку, вся побелев, с дрожащей челюстью, и с этим же самым выражением испуга, жалости, любви и боли, как будто ей самой было больно.

«Да, она понимает, – думала Марья Сергеевна с нежным, благодарным чувством, – и жалеет... Она любит и не переставала любить меня... И теперь это сказалось... А я-то, я-то...»

И, притянув дочь еще ближе, она хотела опять поцеловать ее, но Наташа, не дожидаясь ее движения, вдруг сама быстро закинула руки ей на шею и, прижавшись к ней, крепко поцеловала ее. Так целовала она ее, бывало, еще в детстве, когда хотела утешить мать в чем-нибудь и не умела подобрать слов для выражения своей любви...

Надорванные нервы Марьи Сергеевны не выдержали, и, припав головой на плечо дочери, она вдруг горько зарыдала...

– О мамочка, милая... Не надо...

Марья Сергеевна чувствовала нежные поцелуи дочери и тихое прикосновение ее рук на своем лице, и какое-то умиленное, блаженное и радостное чувство охватывало ее все сильнее и сильнее... Все ее существо жаждало прощения от этого чистого существа, которое в эту тяжелую минуту точно вновь вернуло ей всю свою прошлую любовь.

Часто потом, много времени спустя, Марья Сергеевна, вспоминая эти минуты, думала, что если бы они тогда продлились, то вся ее жизнь пошла бы, быть может, иначе, и чувство, охватившее ее в то время, не могло бы угаснуть так быстро и, быть может, вернуло бы снова ее к дочери и мужу...

Но дверь слегка приотворилась, и в ней показалась фигура Фени.

– Виктор Алексеевич пришли и просят вас вниз...

Марья Сергеевна вздрогнула и, подняв голову, взглянула на Феню.

Она чувствовала, что вся душа ее еще полна этим чудным состоянием, и ей хотелось продлить его, но в то же время она инстинктивно сознавала, что оно уже разрушено и вернуть его невозможно.

Когда Феня сказала, что пришли Виктор Алексеевич и просят ее вниз, Марья Сергеевна почувствовала, как рука Наташи дрогнула и крепко сжала ее руку своими холодными пальчиками, точно стараясь удержать и боясь отпустить ее от себя.

– И чай в столовой уже подан... – равнодушно продолжила Феня и, подошедши к Наташиной кровати, стала готовить ее на ночь.

Марья Сергеевна слегка потянула свою руку из рук дочери, и Наташа вдруг, молча, выпустила ее и отодвинулась от матери. Марья Сергеевна чувствовала, что ей не нужно уходить сейчас, а лучше остаться с Наташей, и что тогда, быть может, между ними кончится все то тяжелое и натянутое, что в последнее время как бы стояло между ними. Но непреодолимая сила тянула ее вниз, и, смущенно наклонившись к дочери, она нежно, с виноватым выражением в глазах поцеловала ее еще раз, как бы прося ее простить за то, что уходит...

Но этот поцелуй уже не был таким горячим и нежным, как те, которыми они обменялись минуту назад...

XVIII

Марья Сергеевна вместе с Наташей встречали Павла Петровича на железной дороге. Когда поезд подходил, Марья Сергеевна сильно волновалась. Ей казалось, что, как только поезд подойдет и муж выйдет из вагона, сразу же начнется что-то страшное, отвратительное. Но, когда поезд подошел и Павел Петрович вышел на платформу, она спокойно и с улыбающимся лицом пошла ему навстречу, приветливо протягивая руку. Обменявшись первыми поцелуями

и приветствиями, она шла рядом с ним просто и даже весело, удивляясь и своему спокойствию, и той простой лжи, которая вдруг появилась в ней и делала ее естественной и непринужденной.

Вокруг нее сновал народ, раздавались возгласы, приветствия, выкрикивания носильщиков и комиссионеров из разных гостиниц, и Марья Сергеевна нарочно медлила, стараясь оставаться на вокзале как можно дольше, инстинктивно понимая, что тут, среди суеты и чужого люда, ей легче быть такой, нежели оставшись с ним наедине. Но, наконец, все было готово, вещи перенесены из багажного отделения, экипаж нанят и носильщикам заплачено.

– Ну, едем же, едем, – говорил Павел Петрович, протягивая руку жене и торопливо направляясь к выходу.

Он поминутно поворачивал свое запыленное и как будто еще более пожелтевшее с дороги лицо то к жене, то к Наташе и, радостно улыбаясь, пожимал им обеим руки.

Они вышли наконец в залу, где было просторнее, и тут он решил, что поедет домой, переоденется и отправится оттуда прямо в департамент, где ожидал найти очень спешные и важные бумаги.

Марья Сергеевна в душе была этим очень довольна.

– Значит, мы тебе сейчас не нужны?

– Значит, не нужны, – отвечал он, ласково целуя ее руку и с улыбкой взглядывая на Наташу. – И потому мой вам совет: поезжайте сейчас же на дачу, а к пяти часам и я приеду и надеюсь, что вы меня хорошо накормите; я, признаюсь, все это время по разным дорогам отвратительно ел.

Когда жена с дочерью отъехали от него на несколько сажен, он с минуту еще оставался на крыльце вокзала, глядя им вслед. Наташа повернула к нему свое раскрасневшееся личико и кивала ему, на мгновение обернувшись и Марья Сергеевна.

«Милые мои!..» – подумал вдруг Павел Петрович, и это слово, и понимание, что он вернулся, и улыбающиеся ему издали лица жены и дочери, все как-то разом подействовало на него...

Он чувствовал себя таким бесконечно счастливым, и сознание своего счастья растрогало его и охватило благодарностью ко всем и ко всему, что было источником этого счастья...

Марья Сергеевна поехала с Наташей сначала по разным магазинам; она насильно хотела заставить себя как-нибудь забыть хотя ненадолго и потому схватилась за покупку разных вещей, нужных для ее и Наташиных осенних костюмов.

«Наташе нужно будет, – думала она, – одно коричневое платье для гимназии и еще какое-нибудь для дома, простенькое... серенькое, отделать можно будет... Но отчего же мне не страшно?.. И отчего во мне вдруг пропало и то отчаяние, и тот ужас, который я чувствовала еще вчера? И потом... Отчего я не чувствую ни неловкости, ни стыда перед ним? Как будто мне все равно или как будто ничего не случилось...» Ее мысль возвращалась к этим вопросам помимо ее воли и желания, и, ловя себя на них, она снова с досадой и нетерпением старалась переключиться на что-нибудь другое. В лавке она очень долго выбирала различные ткани, спокойно и задумчиво драпировала их в красивые складки и даже прикладывала к лицу Наташи, решая, пойдут они ей или нет.

Наташа стояла больше молча, не совсем охотно помогая матери в ее выборе и порой только взглядывая на нее с легким недоумением, как будто чего-то не понимая и чему-то удивляясь.

Наконец, Марья Сергеевна выбрала все, что нужно, и приказчик начал отмеривать. Она машинально следила за тем, как его руки быстро и ловко обтягивали вокруг деревянного аршина мягкие полотнища материи.

«И какое у него было лицо, когда он стоял на крыльце и глядел нам вслед?» – вдруг пришло ей в голову.

– Двадцать аршин? – переспросил приказчик.

Она слегка кивнула.

«Да, конечно, он любит, – продолжала она думать, припоминая мысленно его лицо. – Но его любовь не увлекает... В ней чего-то недостает... Его нельзя любить безумно, потому что женщина, которую он любит, невольно чувствует, что он и сам не может любить до безумия, увлекаться до забвения... У него всегда будет ощущаться эта граница, после которой он говорит себе: дальше нельзя! И не пойдет...»

Аккуратно к пяти часам Павел Петрович приехал на дачу. Обед был подан на балконе, и яркие лучи солнца, преломляясь в хрустальных рюмках и стаканчиках, бегали радужными зайчиками по белой гладкой скатерти. Марья Сергеевна встретила Павла Петровича еще в саду и с улыбкой подставила его губам свой белый душистый лоб.

– Ну, вот я и дома! – радостно сказал Павел Петрович, оглядывая и жену, и знакомый садик, и балкон дачи, на которой они жили уже шестой год, и свое любимое большое кресло темного сафьяна, стоявшее на «его» месте у обеденного стола. – Здравствуйте, милая Феня, здравствуйте! – прибавил он, увидев ее.

Феня поклонилась не то любезно, не то насмешливо.

– А где же Наташа?

– Барышня у себя-с, прикажете позвать?

– Да, да, пожалуйста, и давайте поскорее обедать, я ужасно проголодался.

Феня ушла, прошуршав своим густо накрахмаленным платьем, и, проходя по гостиной, чему-то зло усмехнулась.

– Не ждешь, миленький...

Павел Петрович подошел к жене и, обняв ее рукой, слегка откинул ее голову и крепко поцеловал в губы.

Марья Сергеевна чуть-чуть вспыхнула, но не отодвинулась от мужа и спокойно смотрела в его лицо как будто слегка смеющимися глазами.

– Ты не знаешь, Marie, какое счастье – вернуться после всех этих странствий в свой уголок, – говорил Павел Петрович, – ты никогда не уезжала из дома и не понимаешь этого чувства...

– Нет, отчего же... Я понимаю...

Она тихо убрала его руку со своей талии и, отойдя к столу, начала готовить какой-то салат, низко наклоняя над ним свое краснеющее лицо. Она не чувствовала ни страха, ни отчаяния, ни даже тоски, как ожидала, но его ласки и поцелуи стесняли и конфузили ее, как ласки постороннего ей человека.

– Ну, вот и Наташа!

Павел Петрович усадил дочь рядом с собой. Марья Сергеевна разливала раковый суп, любимый Павлом Петровичем, и даже этот суп был ему особенно приятен, как знак внимательной заботливости жены. Против своего обыкновения Павел Петрович говорил очень много, рассказывал о своей поездке, делах и даже министерстве, что обозначало у него наилучшее расположение духа. Марья Сергеевна была очень рада его разговорчивости, дававшей ей возможность больше молчать и только слушать его с внимательным и ласковым видом. Но в душе она волновалась.

«Сейчас, – тревожно думала она, – он спросит меня, что мы без него поделывали; он всегда, все пятнадцать лет каждый раз это спрашивал... Но теперь это будет самое тяжелое из всего».

И Павел Петрович, точно спеша оправдать ее ожидания, заботливо спросил:

– Ну, а вы что поделывали без меня?

– Ничего, – отвечала Марья Сергеевна спокойно, – то же, что и всегда...

И даже слегка пожала плечами, как будто желая сказать этим: что это мы могли поделывать особенного?

– Ну, а Наташа? Ты как?

Наташа быстро вскинула глаза и, вся покраснев, снова торопливо опустила взгляд в тарелку.

Но Павел Петрович ничего не замечал.

– Экзамены прошли, конечно, отлично? Ты у меня ведь умница, моя девочка? Я нахожу, что вы обе очень поправились и поздоровели за нынешнее лето... Даже могу сказать комплимент, – продолжал он, – не только поправились, но и похорошели обе... Marie особенно...

Марья Сергеевна засмеялась с едва заметной принужденностью:

– Очень любезно! Остается только благодарить...

– Нет, право, очень похорошела, и притом в твоём лице появилось что-то новое... Я не знаю, что... Но что-то есть. Может быть, это из-за костюма, вы обе такие нарядные, верно, ради моего приезда... Впрочем, сегодня уж такой удачный день, даже обед как-то особенно вкусен.

– Все твои любимые блюда.

– Да, я это уже заметил, – прибавил он шутливо. – И все это дает мне право чувствовать себя сегодня в некотором роде героем дня. Но мне не нравится только одно: моя девчурка стала ужасно молчалива; прежде ее восторг по поводу моих возвращений выражался более буйным образом...

Марья Сергеевна бросила беглый пытливый взгляд на дочь и на мужа, но при этом слегка испуганное выражение ее глаз перешло почти сразу же в улыбку.

– Растет... Становится застенчивее... Все девушки застенчивы в пятнадцать лет.

– Да, молодое растёт, а старое старится! – согласился с легким вздохом Павел Петрович. – Приходится уступать дорогу; но ты, Marie, не старишься, ты все такая же, как была и пятнадцать лет назад, даже, пожалуй, еще лучше!

Марья Сергеевна насмешливо засмеялась:

– Вот истинно «мужнин» комплимент! Кто говорит женщине о годах, да еще желая сказать ей любезность? Нет, ты неисправим.

– Что делать, Marie, сказать по правде, я никогда не умел говорить комплиментов. Сознаюсь. Помню даже, кузина София еще десять лет назад говорила, что я немислим для женщин в иной роли, кроме роли мужа...

Марья Сергеевна вдруг быстро подняла голову, и в ее глазах промелькнула какая-то загадочная и точно злая улыбка:

– Быть может, она права... Да, но я все-таки нахожу, – прибавила она после короткого молчания со своею насмешливой улыбкой, которой Павел Петрович совсем не помнил у нее прежде, – что я даже и права еще не имею стариться. Во всяком случае, для роли «жены» я не могу быть стара в свои тридцать три года, тем более что я знаю многих мужчин, которые и в тридцать шесть лет играли роль молодых людей и женихов.

– Ого! – Павел Петрович рассмеялся совсем уж весело и громко. – Даже у моей кроткой Marie вырастают коготки, когда нескромно заговорят о годах. Что значит быть женщиной!.. Хотя, спешу прибавить, пользуясь своим праздничным настроением, – прелестной женщиной!

– Не будем брать на себя чужих ролей.

И с легкой насмешливой гримаской Марья Сергеевна быстро встала из-за стола и отодвинула свой стул, давая этим понять, что обед закончен.

Наташа поспешила уйти все с тем же стыдливым и смущенным выражением лица, точно в душе ей было совестно за их разговор...

Павел Петрович задумчиво и нежно смотрел ей вслед.

– Она очень выросла и переменилась, – сказал он и, помолчав немного, снова подошел к жене и обнял ее.

Он чувствовал сегодня какой-то особый наплыв нежности и любви к жене. Ему все нравилось в ней, даже сам ее тон, слегка насмешливый, которым она раньше никогда не говорила

с ним, делал ее в его глазах еще интереснее и привлекательнее, и он со страстным восторгом целовал ее...

А Марья Сергеевна с испугом и удивлением глядела на его раскрасневшееся лицо и точно не узнавала его. Эти глаза, замутившиеся страстью, горячие губы, целовавшие ее, и даже руки, обвивавшиеся вокруг ее талии, казались ей каким-то оскорблением, насилием, и, с трудом сдерживая слезы, она до боли закусывала свои побелевшие губы и не чувствовала уже больше перед ним ни стыда, ни страха, ни угрызений совести, а только злость и отвращение.

XIX

Август уже подходил к концу; стоявшая все время прекрасная погода вдруг изменилась, и дождь полил почти безостановочно. Все небо обложило хмурыми, седыми облаками, и в этой бесконечно однообразной серой пелене, нависшей над мокрой от дождей землей, не проскальзывало ни одного солнечного луча, не проглядывало нигде светлого клочка синевы. Осень наступала быстро, сразу после летней жары. Все потянулись с дач обратно в город, и по всем закоулкам и улицам ползли огромные возы с мебелью. Все больше оголялись деревья, сдерживались со всех балконов белые маркизы и обрывались в палисадниках уезжавшими дачниками последние, вымокшие под дождем цветы. Опустошенные дачи стояли с распахнутыми настежь дверями, дождь уныло барабанил в окна, и крупные капли его, точно слезы, катились по стеклам. Ветер, стуча и хлопая оторванными кое-где ставнями, глухо шумел и завывал на вздувшемся озере, вспенивая на нем беленькие гребешки, и со свистом налетал на деревья, сердито пригибая их к земле.

А между тем Марья Сергеевна, под разными благовидными предложениями, откладывала день за днем свой переезд, несмотря на то что Павел Петрович, вернувшийся слишком поздно для того, чтобы переезжать на дачу, жил в городе и в каждый свой визит просил и жену перебраться скорее.

Но Вабельский еще оставался на даче, и видеться им с Марьей Сергеевной тут было гораздо удобнее, чем в городе, а потому она и затягивала насколько возможно свой переезд.

Наступило уже тридцатое число. Наташе давно пора было в гимназию, Павел Петрович торопил настоятельнее и решительнее, откладывать становилось невозможно, и осознание этой невозможности раздражало и пугало Марью Сергеевну.

Очутиться в городе в одной квартире с мужем, постоянно быть вместе с ним, выносить его ласки, лгать, притворяться всегда, каждую минуту и, наконец, что было для нее хуже всего, – потерять возможность видеть Вабельского не только уже каждый день, но даже более или менее часто, – все это заранее мучило ее, и она предчувствовала, что на такую игру у нее не хватит ни характера, ни умения.

Непринужденность ее лжи перед мужем на первых порах удивляла ее самое, но с каждым их новым свиданием эта маска притворства становилась ей тяжелее и отвратительнее. Та злость и отвращение, которые она почувствовала к мужу в первый день по его приезде, начинали проявляться в ней со все большей силой. Она постоянно переходила от раскаяния к озлоблению.

Когда мужа не было с ней, она сознавала, как сильно виновата перед ним, и с мучительной болью чувствовала всю низость и подлость своего поведения. Но когда он приезжал и особенно в те минуты, когда он был наиболее нежен с ней, бессильная злость и отвращение тотчас же завладевали ею. Она негодовала на него за то, что должна лгать и притворяться с ним, за то, что он имел все «законные» неотъемлемые права любить ее и от нее требовал того же, за то, что принадлежала ему, тогда как все ее существо возмущалось против этого и рвалось к другому человеку, которого она не только не смела открыто признавать своим, но и невольно краснела перед всеми за краденое чувство.

Чем больше осознавала она все это, тем безумнее любила Вабельского, и чем больше любила его, тем сильнее чувствовала к мужу отвращение. Она утешалась только тем, что Павел Петрович, занятый более чем когда-нибудь своими делами и службой, приезжал на дачу не более двух раз в неделю.

Виктор Алексеевич Вабельский очень интересовался «положением дел с мужем», как он, шутя, говорил порой Марье Сергеевне и, слушая ее откровенные обо всем рассказы, приходил в приятное удивление. Положительно, он не ожидал от нее такой ловкости.

Она рассказывала ему все, находя какое-то наслаждение в том, чтобы раскрыть ему всю свою муку. Когда она признавалась ему в своем отвращении к мужу, Вабельский почувствовал какое-то безотчетное удовольствие. До сих пор он никогда не ревновал к мужьям, признавая их законные права, но Павел Петрович и его нежность к жене как-то странно коробили его. Он предпочел бы, чтобы мужа совсем не было в данном случае. Он не желал ни жениться на Марье Сергеевне, ни открыто сойтись с ней навсегда, но в то же время чувствовал, что ему было бы приятнее, если бы она принадлежала ему одному. Постоянная боязнь за свои с ней отношения и возможность даже прекращения их, в случае, если бы Павел Петрович узнал что-нибудь, вовсе не нравились ему.

Порой ему казалось, не будет ли, в самом деле, лучше, если Марья Сергеевна разойдется с мужем. Многими своими сторонами этот вариант нравился ему, но боязнь, что тогда их отношения могут принять слишком серьезный характер и даже, пожалуй, затянуться навсегда, останавливала его.

Марья Сергеевна уже давно испытывала подобное желание, но остановиться на нем окончательно она все еще не решалась.

Разойтись с мужем – в душе она только о том и мечтала, но сделать это сейчас же, сразу, у нее не доставало смелости и характера. К тому же мысль о Наташе поневоле останавливала ее. Марья Сергеевна предчувствовала, что муж, узнав все, нелегко отдаст ей дочь, и эта мысль сильнее всего другого мешала ей решиться. Тем не менее она все чего-то ждала, предчувствуя, что конец уже близок, что тянуть подобную ляжку долго у нее не останется силы, и потому все это как-нибудь скоро кончится.

Чем кончится, каким образом – все это ей представлялось как-то неясно, но что оно должно кончиться, это она хорошо осознавала и предчувствовала, что конец должен наступить именно в городе.

Наконец, Павел Петрович, не понимавший промедления Марьи Сергеевны, потребовал очень решительно и даже с легким неудовольствием, чтобы переезд состоялся в начале следующей же недели. Наташа пропускала занятия, и хотя Марья Сергеевна и говорила, что ходить в гимназию девочке все равно будет нельзя, так как у нее болело горло и она кашляла, но Павел Петрович на это только поморщился. Он не любил, когда по таким, в сущности, несерьезным причинам Наташа манкировала учебой.

– Да и во всяком случае ее кашель в городе пройдет, вероятно, гораздо скорее, чем тут. У тебя, Наташа, очень болит горло? – обратился он к дочери.

Наташа немного вспыхнула, что вообще в последнее время с ней случалось очень часто во время разговоров с отцом, и, вопросительно взглянув на мать, ответила не совсем решительно:

– Не очень, папа... Но... болит...

Павел Петрович слегка пожал плечами:

– Ну, вот видишь! Значит, задерживать это не может. Я бы ничего не имел против того, чтобы вы оставались на даче подольше, если бы погода была хороша, но теперь... Итак, решено, я вас жду не позже среды. Трех дней достаточно для сборов. И к тому же... К тому же, моя дорогая, я так долго был лишен твоего и Наташиного общества, что буду очень рад очутиться в нем снова, чем скорее, тем лучше! – прибавил он уже более нежно, целуя руку жены.

Марья Сергеевна молчала и хотя не отнимала у мужа своей руки, но он заметил, что в ее лице было что-то угрюмое и недовольное, невольно удивлявшее его.

XX

Наконец переехали в город. Дни стояли такие сумрачные, холодные и дождливые, что напоминали глубокую осень, и под влиянием погоды Марье Сергеевне в своих уютных и так любимых прежде комнатах казалось теперь еще мрачнее. В прежние годы, тотчас по переезде с дачи, она всегда с особенною любовью и заботливостью принималась за уборку своей квартиры «по-зимнему». Теперь же, чувствуя себя словно на бивуаках, она следила за всем этим апатично и нехотя.

«К чему?.. – спрашивала она себя. – Не все ли равно?..»

Первое время Павел Петрович ни в жене, ни в начавшейся с ее переездом домашней жизни не замечал ничего особенного. Наташа все так же ходила в гимназию, он все так же ездил каждый день на службу. Работы в его отсутствие накопилось так много, что ему приходилось заниматься даже и по вечерам, и потому, при всем его желании проводить с женой побольше времени, он не мог этого делать, зарабатываясь или в министерстве, или в своем кабинете. Но, приходя порой в комнату жены посидеть с ней немного и приглядываясь к ней, он находил ее если и не странною, то, во всяком случае, словно какою-то больною.

Павел Петрович замечал, что Марья Сергеевна похудела, осунулась, как будто втайне о чем-то переживала, но приписывал это ее немного болезненному состоянию и скверной осенней погоде, всегда дурно действовавшей на нее.

Наташа больше удивляла его. Она не приходила, как в прошлые зимы, заниматься по вечерам в его кабинет, не читала ему газет и докладов, не болтала с ним о своих делах и гимназии, даже, видимо, не интересовалась больше его службой. Порой ему казалось даже, что она почему-то стесняется и нарочно избегает его. Это и удивляло, и огорчало Павла Петровича. Не зная, чему приписать подобную перемену, он не раз хотел поговорить с ней, но множество дел и занятий все мешали ему, не оставляя почти свободной минуты, и он мысленно решил отложить объяснение до тех пор, пока он ясно убедится, что перемена в ней действительно произошла, а не кажется лишь ему.

Наташа видела, что отец замечает ее странное поведение и огорчается им. И когда ей приходило в голову, что он, быть может, думает, будто она чуждается его потому, что разлюбила его, ей делалось так больно и так мучительно жалко и его, и себя, что она готова была со слезами броситься к нему на шею и уверить, что она не только не переставала любить его, но любит даже больше и горячее, чем когда бы то ни было. И боясь невольно это сделать, она нарочно старалась избегать его.

Страстно любя, но в то же время страстно ревнуя мать, она с мучительной тоской наблюдала за ней все лето. Она подмечала каждое ее слово, каждый влюбленный взгляд, брошенный на Вабельского, вслушивалась даже в сам ее голос, звучавший в разговоре с ним особенно мягко и нежно. И, ревнивым чутьем угадывая силу любви матери к Вабельскому, оскорблялась ею, не будучи в состоянии понять, как ее мать может любить чужого человека больше, чем ее, Наташу.

Порой чувство этого оскорбления и обиды доводило ее до негодования на мать и ожесточения против Вабельского. Иногда она, точно желая разбередить свою боль, мысленно представляла себе этого ненавистного ей человека наедине с матерью и тогда, под гнетом мучительного стыда и ревности, не желая делить ее любовь с этим человеком, делалась к Марье Сергеевне еще холоднее, еще дальше отходила от нее.

Веселый вид Марьи Сергеевны и счастье, написанное на ее лице, которое порой она не могла скрыть, еще больше возмущали девочку. Иногда, видя, что Марья Сергеевна одевается с

особенным старанием, Наташа следила за ней, думая: «Это для него!», и с гордым презрением окидывала взглядом нарядный и изящный туалет матери, надевавшийся ею для ее врага.

Еще год назад на этой же самой даче Наташа часто бегала и шалила, как настоящий ребенок; теперь же она почти целыми днями сидела одна у себя в комнате, сумрачная и серьезная, как старая женщина, и мучила сама себя, вечно думая о матери и о «нем». Так же, как и Марья Сергеевна, Наташа вдруг стала дичиться всех знакомых и подруг, находя во всех что-то подозрительное и презрительное по отношению к себе. Ей казалось, что «про маму знают все», и потому, когда кто-нибудь из встречавшихся ей иногда знакомых спрашивал у нее что-нибудь о Марье Сергеевне, она смущалась и конфузилась, не зная, что сказать и как ответить. Даже в самом простом вопросе ей чудились какие-то странные недоговоренные намеки, одно предположение о которых заставляло ее мучительно вспыхивать.

В этих постоянных переходах от ревности к озлоблению и от ненависти к страстной любви для Наташи протянулось все длинное лето, вплоть до того дня, когда Марья Сергеевна, получив от мужа телеграмму, вошла с ней в комнату дочери. В ту минуту, когда Наташа взглянула в измученное и точно сразу постаревшее лицо матери, она впервые почувствовала к ней, кроме жгучей ревности, что-то иное, более теплое и нежное. Когда же Марья Сергеевна, обняв ее и положив голову ей на грудь, вдруг заплакала, в душе Наташи начался какой-то перелом. Она вдруг начала понимать, что ее бедная мать, кроме того, что виновата, в то же время еще и глубоко несчастлива, чего до сих пор она, Наташа, не хотела заметить и понять. И ей вдруг сделалось так больно за мать и стыдно оттого, что раньше не хотела понимать ее горя, а только мучила ее еще сильнее своей ревностью и отчуждением, и Наташа заплакала вместе с ней, как бы утешая ее своим сочувствием. Когда же Марья Сергеевна ушла, вызванная Вабельским, Наташа уже не почувствовала ни озлобления, ни ревности. Она не думала больше ни о нем, ни о любви к нему матери, а думала только, что она страдает и мучается, и за это страдание не только простила ей все, но и чувствовала себя перед ней бесконечно виноватой.

С этих пор в ее душе настало какое-то странное смятение. Однажды поняв страдание и горе матери, она не могла уже не жалеть ее, но в то же время ей так же мучительно жалко было отца. И перед ним она чувствовала какую-то страшную вину не только за мать, но как будто даже и за себя. Как тогда она почувствовала себя виноватой перед матерью в том, что не понимала ее горя и была с ней холодна и горда, так теперь, сознавая какой-то ужасный и отвратительный обман, она чувствовала себя виноватой перед отцом, но только еще гораздо большей виной, чем перед матерью. Ей казалось, что и она также, вместе с матерью и Вабельским, как-то отвратительно и ужасно обманывает его.

Часто, не умея понять, что она должна делать, как может помочь их страшному горю, она начинала горячо молиться, повторяя в слезах: «Господи, помоги им, помоги им, Господи...»

Но все, что она чувствовала наедине с собой, она почему-то старательно скрывала от них, особенно от отца. Она инстинктивно понимала, что отец не должен ничего знать, что, если он узнает, это будет еще ужаснее и для него, и для матери. И она следила за каждым своим словом, движением, даже взглядом, ежеминутно боясь как-нибудь проговориться и одним неосторожным намеком открыть ему то, что так старательно скрывала. Вот почему Наташа избегала отца, говорила с ним только о самом необходимом и, порой встречаясь с его удивленным взглядом, вспыхивала и, чувствуя на душе стыд, слезы и жалость, смущенно опускала глаза, точно боясь, что они выдадут ее помимо воли.

XXI

Марья Сергеевна видела эту новую перемену в дочери и как бы из благодарности ласкала ее горячее и больше, чем летом; но чувство неловкости все-таки не проходило и порой делало ее даже раздражительной.

Эта странная и какая-то болезненная раздражительность начинала проявляться в ней все чаще, и причина ее становилась яснее с каждым днем все понятнее ей и яснее. Ее предположение о беременности перешло уже в уверенность, не оставляя больше никаких сомнений.

Видеться с Вабельским, как она и ожидала, стало теперь гораздо труднее, чем на даче. Каждый раз она должна была лгать, придумывать разные предлоги, бояться подозрений и выслеживаний. Прежде она очень часто выезжала из дому, и ни на одно мгновение ей не приходило в голову, что мужу это может показаться странным; теперь же ей казалось, что все подзревают ее и следят за ней, и, уходя порой даже и не к Вабельскому, она боялась вызвать подозрение в том, что идет именно к нему. Все это мучило и раздражало ее еще сильнее. Она устала лгать, притворяться и пребывать в вечном страхе, что каждую минуту все может открыться.

В одно из свиданий с Вабельским она пришла к нему в каком-то сдержанном волнении, и в ее побледневшем лице было что-то новое, строгое.

– Я решилась, – сказала она спокойным, немного глухим голосом. – Я сегодня же скажу ему все... И мы разойдемся. Дальше так нельзя, это слишком отвратительно, безобразно... Я больше не могу... Мне стыдно... Мне гадко...

– Ну и прекрасно. Чего же волноваться-то?

Вабельский не особенно удивился ее решению; он предчувствовал его давно и, к своему собственному удивлению, не только не был в душе против, но даже, скорее, отчасти был доволен подобным поворотом. Виктору Алексеичу надоели и слезы, и сцены, а между тем разорвать эту связь и тем прекратить все эти истории, ему не хотелось и было жаль. Он чувствовал, что привык к ней более, нежели бы ему хотелось. К тому же беременность Марьи Сергеевны поневоле осложняла вопрос. До сих пор у Вабельского еще никогда не было детей, и ожидание этого ребенка от Марьи Сергеевны если и не радовало его, то, во всяком случае, как-то странно занимало и интересовало.

«Это, пожалуй, даже и лучше, если она разойдется со своим муженьком и переедет от него, – думал он. – Начать с того, что тогда будет и свободнее, и безопаснее. Раз дело с ним будет покончено, то и мешать он не будет иметь права».

Но, даже и допуская разрыв Марьи Сергеевны с мужем, он не желал допустить мысли, что их отношения вследствие этого могут сделаться вечными. Более свободными – да, но вечными – ни под каким видом. Ребенок, конечно, отчасти мог более скрепить их, но и то не навсегда.

Одно время его смущало все это в материальном смысле. Лично его дела были все еще не в блистательном положении; предшествующие годы он жил слишком широко и потому немного запутался. Но оказалось, что у Марьи Сергеевны было своих пятьдесят тысяч, полученных ею в приданое после отца. Расспрашивая ее подробнее об этих деньгах, Виктор Алексеич узнал, что они положены лично на ее имя и что муж никогда из них ни копейки не требовал и даже проценты с них предоставлял в ее личное распоряжение.

Вабельский никогда не жалел денег на женщин, но содержать всецело жену или любовницу с правами жены казалось ему всегда страшно дорого и трудно, и он решил избегать подобной возможности, хотя траты его на актрис и кокоток обходились ему вдвое дороже. И потому он был очень доволен самостоятельными средствами Марьи Сергеевны. Все это вместе заставляло его если не желать и не вполне одобрять ее разъезд с мужем, то, во всяком случае, и не иметь ничего против. И хотя раньше он еще колебался и взвешивал все «за» и «против», заставляя ее под разными предлогами откладывать это решение, но теперь, когда она так категорически объявила ему, что дальше выносить эту пытку не в состоянии и что сегодня же объяснится с мужем, он ничего не возразил ей и только слегка пожал плечами:

– Как хочешь, милая, ты знаешь мое мнение: я ничего не имею против, если ты непременно желаешь этого.

И, пересилив легкое раздражение, он взял ее руку и проговорил, целуя ее:

– Так я приищу тебе квартиру, комнаты три-четыре... Больше тебе не надо.

Она тихо кивнула, но продолжала сидеть угрюмо и сумрачно. Что-то было оскорблено в ней. Его тон коробил ее, и ей хотелось услышать от него в ответ на свое решение что-то другое, более радостное, нежное. В его словах она инстинктивно чувствовала недостаток любви, и это задевало и пугало ее; но какая-то гордость не позволяла ей высказать это, и мысленно она даже успокаивала себя. Просто она расстроена, оттого ей и кажется все так скверно. И, стараясь заглушить в себе безотчетное недовольство, она начала советоваться с ним насчет квартиры и дальнейших планов.

Виктор Алексеевич, со своей стороны, желал только одного: чтобы все эти объяснения и решения происходили без него. Он едва знал Павла Петровича, лишь изредка встречая его в обществе, и мысль о переговорах с ним по такому вопросу была ему очень неприятна. Раз уж Марья Сергеевна непременно желает заварить всю эту кашу, пусть, по крайней мере, не вмешивает его. И он старался дать ей это понять и научить ее действовать так, чтобы все прошло благополучно и согласно его желаниям. Условливаясь и советуясь с ним обо всем этом, Марья Сергеевна просидела у него дольше обычного и опоздала домой к обеду.

Павел Петрович привык обедать ровно в половине шестого. В пять он уезжал из присутствия, а в четверть шестого был дома. На этот раз его немного задержали в министерстве; он приехал почти двадцатью минутами позднее обыкновенного и, взбегая поспешно по лестнице, думал, что Марья Сергеевна уже ждет его в столовой. Но оказалось, что Марья Сергеевна вовсе не было дома. Это немного удивило Павла Петровича; он любил, чтобы к обеду все были в сборе, и поступаться своими привычками ему было неприятно даже в мелочах.

Узнав, что жена еще не возвращалась, он прошел прямо к себе в кабинет, уже немного расстроенный и удивленный этим, и ждал там до половины седьмого. Сесть за стол без жены ему было крайне неприятно, но ждать дольше он не мог, так как к семи часам к нему должен был приехать по делам министерства один из его чиновников. Войдя в столовую, он спокойно поцеловал дочь, отодвинул стул и сел на него, развернув привычным жестом свою салфетку, но взволнованная и слегка испуганная Наташа заметила, что в душе он недоволен и сердится.

Придя из гимназии, она застала мать уже на лестнице, и по тому, как та была одета, и по внутреннему своему чутью, замечательно развившемуся в ней в последнее время, поняла, что мать идет к «нему».

Каждый раз, видя, что мать уезжает к Вабельскому, Наташа страшно волновалась и успокаивалась только тогда, когда та возвращалась. Она сознавала, что мать делает что-то «ужасное», уходя к нему, и боязнь, что отец узнает про это, мучила ее. Сегодня же, зная, что Марья Сергеевна еще не вернулась, тогда как отец уже был дома, она волновалась еще больше. Почти все время простояла она у окна своей комнаты, тревожно вглядываясь в каждую проезжавшую мимо женщину и с нетерпением поджидая ее звонка. Но когда ее позвали обедать, не дождавись возвращения Марья Сергеевны, Наташа с тяжелым предчувствием чего-то грозного и уже близкого пришла в столовую, всеми силами стараясь не выказать отцу своим волнением чего-нибудь подозрительного.

– Ты не знаешь, где мама? – спросил наконец Павел Петрович внешне совсем спокойно. Наташа на миг подняла на него испуганные глаза.

– Она, кажется, у tante Софи, – проговорила она с легкой дрожью в голосе, мучительно краснея от своей лжи.

Павел Петрович не хотел еще предполагать ничего дурного в поступках своей жены, но не замечать чего-то странного и в ней, и в Наташе он при всем своем желании уже больше не мог. И это «новое», показавшееся ему сначала легким нездоровьем жены, не только не казалось ему таковым теперь, но уже тревожило и пугало его. Если бы он наблюдал, то мог бы еще яснее убедиться, что в странностях его семьи кроется что-то очень серьезное, но Павел Петрович вовсе не желал подобного убеждения и боялся его. Он так привык к прочности своего счастья, ход его жизни так прочно встал в наезженную, раз и навсегда известную колею, что

выбиться из нее казалось ему чем-то невозможным и невероятным, чего с ним никогда и не могло случиться. Несмотря на все эти логичные рассуждения, порой, когда он повнимательнее приглядывался к жене, его вдруг охватывала невольная боязнь чего-то, какое-то тяжелое предчувствие. И если в большинстве случаев он скоро овладевал собой и своими расшатавшимися, как он думал, нервами, то теперь, в те минуты, что он провел у себя в кабинете, и тут в столовой, в ожидании жены, эта тоска, боязнь и предчувствие охватили его с большей силой, чем когда-нибудь.

Около семи часов раздался звонок. И Наташа, и Павел Петрович вздрогнули и на мгновение вскинули друг на друга тревожный взгляд.

Марье Сергеевне нужно было пройти к себе в комнату через столовую; проходя мимо мужа и дочери, она кивнула им и спокойно проговорила:

– Вы уже обедаете... Я запоздала...

Павел Петрович ничего не сумел ей ответить и, взглянув на ее побледневшее, с каким-то странным выражением лицо, не только не почувствовал облегчения, но его опасения как бы еще усилились. Он молча, поспешно доканчивал свой обед, спеша уйти к себе в кабинет и отвлечься от своих личных мыслей и чувств за официальными делами. Наташа тревожно прислушивалась к шагам и голосу матери, долетавшим из будуара Марьи Сергеевны, и временами искоса поглядывала на отца. Лицо матери и ее резануло какой-то острой болью, и, низко наклонясь над тарелкой, она чувствовала в душе такой страх чего-то еще не совсем ясного, боль и тоску, что готова была заплакать совсем по-детски, как плакала, бывало, еще несколько лет назад, ребенком, когда чего-нибудь пугалась.

Отец с дочерью тотчас после обеда разошлись по своим комнатам. Проходя к себе через будуар Марьи Сергеевны, Наташа подошла к ней и молча поцеловала ее, как всегда это делала после обеда. Марья Сергеевна ответила на ее поцелуй как-то рассеянно, видимо, думая о чем-то другом, и, когда дочь ушла, она еще долго ходила по своему кабинету взволнованной походкой. У Павла Петровича сидел чиновник из министерства, и Марья Сергеевна с мучительным, тяжелым нетерпением поджидала его ухода. Она сама не могла решить, хочет ли она приблизить минуту объяснения или, инстинктивно боясь ее, рада этому невольному промедлению, вследствие которого «конец», так страстно желаемый ею и так мучительно пугающий ее, откладывался еще на лишний час. Наконец чиновник ушел. Голоса в кабинете затихли. Марья Сергеевна остановилась на минуту около своего туалета.

«Идти?» – мысленно спросила она себя, и страх, тоска и боль, испытываемые ею все время, вдруг охватили ее еще мучительнее. И сердце ее забило так нервно и часто, что ей было даже больно от его сильных ударов.

Она сделала несколько шагов, но тотчас же остановилась, почувствовав какую-то дрожь в ногах и даже легкое головокружение. Она снова опустилась в кресло, и в эту минуту ей вдруг показалось, что это объяснение совсем не нужно, что будет гораздо лучше, если все останется так, как было до сих пор. То, что должно было начаться сразу же за этим объяснением, представлялось ей теперь таким ужасным, что она не решилась добровольно пойти на это.

– Не надо... Не надо... – проговорила она машинально, думая о том, что не надо идти к мужу, и на мгновение по лицу ее скользнула даже улыбка, та улыбка, которая невольно появляется у человека, когда он видит, что страшная опасность, грозившая ему, вдруг отошла и миновала его.

Но это длилось только мгновение. Через минуту она опять «почувствовала», что идти надо. И надо сейчас же, чтобы решить все сразу и не мучиться больше в этой неизвестности.

«И потом... ведь я... беременна... Значит, не идти – только отложить... А рано ли, поздно ли, но сказать нужно...»

Она вдруг рванула колокольчик и несколько раз нетерпеливо позвонила.

– Барин один? – спросила она у вошедшей на зов Фени и тут же подумала: «Зачем же я спрашиваю... Ведь я же знаю, что он один! Отсрочиваю только, обманываю себя же».

– Один-с.

– Да! Ну, хорошо... Идите, мне больше ничего не надо.

Феня вышла, а Марья Сергеевна, прислушиваясь к ее затихающим в дальнем коридоре шагам, вдруг сразу вся как-то рванулась и быстрыми, не колеблющимися уже больше шагами пошла к кабинету мужа...

Часть вторая

I

На другой день после объяснения с мужем Марья Сергеевна поднялась с тяжелой головной болью. Первым ощущением, пока она не совсем еще проснулась, было странное чувство чего-то невыносимо тяжелого, мучительного и болезненного... Но чего? Сразу она не могла уяснить себе. Она смутно помнила только, что накануне случилось что-то нехорошее, ужасное...

Но это продолжалось всего несколько мгновений.

Марья Сергеевна вспомнила все: и вчерашнее объяснение с мужем, и страшную для нее сцену с выбором Наташи, и то, что сегодня кончается все старое и начинается что-то новое, еще не совсем определенно представляемое ею себе, но уже пугающее своей неизбежностью.

Марья Сергеевна опять закрыла глаза и опустила голову на подушки, как бы стараясь вновь уснуть и забыться.

Но заснуть опять она уже не могла и машинально прислушивалась к мерному бою старых часов, висевших в соседней комнате.

Маятник ходил гулко и звучно, и Марья Сергеевна, сама не зная почему, машинально считала его удары.

«Завтра... Завтра меня уже не будет здесь...»

Она бессознательно повторяла слово «завтра», и ей казалось, что оно как нельзя лучше подходит к мерному звуку маятника. Это как-то странно отвлекало ее мысль от переживаний...

Прошло несколько минут... Все было тихо, верно, еще очень рано... Не встали...

Она глядела широко раскрытыми глазами на одну точку в узоре обоев на противоположной стене, и ей было лень отвести глаза...

Так лежала она без движения, без мысли и даже без тоски, боясь выйти из этого полубессознательного состояния и начать снова мыслить, чувствовать и страдать...

В соседней комнате хлопнула дверь. Марья Сергеевна вздрогнула. Кто-то подошел к двери ее комнаты и остановился, заглядывая в маленькую щелочку, образовавшуюся между двумя не совсем плотно притворенными створками дверей.

– Еще спят, – послышалось ей.

Марья Сергеевна вдруг быстро приподнялась на кровати и сразу вышла из своего оцепенения.

– Нет... Нет, я не сплю. Это ты, Феня?

– Я, сударыня!

– Войди. Который час?

– Уж скоро десять.

– Десять?

Она думала – гораздо раньше...

Феня подошла к окну и, откинув занавесь, стала поднимать штору. Мягкий беловатый свет осеннего утра разлился по углам комнаты. Маленькие диванчики, этажерки и цветы выступили рельефнее, но тонули в каком-то сероватом тоне от шедшего с неба грязновато-молочного отсвета.

Марья Сергеевна машинально разглядывала темный силуэт Фени в светлом пространстве окна и светлую полосу, проходившую наискось по всей ее фигуре, в которой мелкий рисунок ситца ее платья выделялся яснее.

«Розовенькие цветочки... – бессознательно думала Марья Сергеевна, – ведь это я ей покупала?.. Да, я... Но когда же? Ах да, к прошлой Святой, да, да, и ей, и прачке, обоим одинаковые... Как она долго носит!..»

И Марье Сергеевне вдруг вспомнились даже и лавка, в которой она покупала тогда этот ситец, и лицо приказчика, продавшего его ей, и даже другие куски материи, лежавшие рядом...

Феня подняла шторы обоих окон и подошла к постели.

– Одеваться сейчас прикажете?

Марья Сергеевна безучастно глядела на Феню, а потом, точно вдруг уяснив себе ее вопрос, заторопилась:

– Да-да, сейчас, давай скорее...

Феня подала своей барыне юбки и пошла доставать из шкафа капот.

Барыня молча следила за горничной. Знает ли она? Марье Сергеевне ужасно хотелось проверить сейчас же и наверняка, знает ли Феня, что случилось, или нет. Но спросить прямо ей было совестно, и, рассеянно одеваясь, она искоса вглядывалась в лицо Фени, хотя узнать что-либо по этому розовому, курносому и миловидному лицу, всегда с задорно-плутоватым выражением столичной горничной, она не могла.

Надо было, однако, сказать Фене, чтобы она уложила вещи и белье. Но как сказать? Марья Сергеевна стеснялась: что, если она ничего не подозревает, удивится, начнет расспрашивать – зачем, почему.

– Вы поможете мне, Феня, уложить некоторые вещи, белье...

И, говоря это, Марья Сергеевна чувствовала, как яркая краска заливает все ее лицо, и это сердило ее. Неужели отныне она будет краснеть за свои поступки даже перед этой Феней?..

– Слушаю-с.

Феня ответила так просто и спокойно, как будто барыня приказала принести ей чашку чаю.

Барыня была сконфужена и удивлена спокойствием своей горничной гораздо более самой горничной. Феня не была особенно предана ей, но дорожила хорошим местом и верным жалованьем. Она всегда одна из первых видела и замечала все, что совершается в доме; вчерашнее объяснение Марьи Сергеевны с мужем не было для нее неожиданностью. Она давно уже начала предвидеть подобный конец. Когда Павел Петрович вчера послал ее за Наташей, она потом долго стояла, притаившись, у закрытой двери кабинета, и, не расслышав чего-нибудь, осторожно заглядывала в щелочку замка. Всем случившимся Феня была даже отчасти встревожена.

При месте она останется или без места? И если при месте, то при ком лучше – при барыне или при барине?

Феня решила, что при барыне, пожалуй, лучше будет. Барин, поди, уедет теперь куда-нибудь. Но, предвидя впереди разные хлопоты и неприятности, она в душе даже сердилась на Марью Сергеевну.

«Вот уж именно что с жиру бесится! Одурела совсем под старость! Только бедным людям из-за них хлопоты да горе...»

– Барышнину белье прикажете от прачки взять?

– Да, конечно. Барышня у себя?

– Они одеваются; их барин к себе велели звать, как готовы будут.

Марья Сергеевна встревоженно поднялась. Опять, Боже мой. Да зачем же? Разве не все кончено! Зачем же опять звать к себе? Говорить... Но о чем же? Быть может, он передумал и хочет уговорить Наташу остаться с ним. Нет, нет, этого не может быть, он не сделает этого, раз уж сказал... Проститься... Просто хочет еще раз проститься... Но что, если они оба, оставшись одни, без нее, не выдержат, и в последнюю минуту Наташа сама уже не захочет идти к ней...

Ее глубокая любовь к дочери под влиянием охватившей ее страсти как будто слегка охладела и отошла на второй план; но, когда настал час, в который Марья Сергеевна ясно поняла и увидела, что дочь может быть на всю жизнь отнята и навсегда потеряна для нее, временное охлаждение к ней внезапно исчезло; под страхом утраты вся любовь и привязанность к своему ребенку воскресла в Марье Сергеевне с новой страстной силой. И, несмотря на вчерашнюю сцену, в которой Наташа выбрала мать, Марья Сергеевна мучилась и боялась, что за ночь девочка передумала и, переговорив с отцом, снова откажется от нее и перейдет к нему.

– Кофе сюда подать прикажете?

– После, идите теперь; я позову, когда мне будет нужно.

Феня вышла. Марья Сергеевна порывисто встала, подошла к двери Наташиной спальни и приотворила ее сначала тихонько, осторожно заглядывая внутрь комнаты.

Наташа стояла лицом к ней, застегивая пуговицы своего лифа.

– Ты встала уже, Наташа? – спросила Марья Сергеевна только для того, чтобы как-нибудь начать.

– Да, мама, я уже готова.

Марья Сергеевна подошла к дочери и, приподняв ее голову за подбородок, взглянула ей в глаза.

Наташино личико приходилось почти вровень с ее головой и глядело на нее серьезными задумчивыми глазами.

Но какая же она большая... Совсем, совсем большая!.. И Марья Сергеевна с удивлением смотрела на Наташу, точно только теперь поняв, что дочка уже не тот маленький ребенок, который когда-то на ее коленях тянулся к ее груди крошечным сморщенным ротиком и пухленькими ручонками, и даже не тот, которого она сама учила азбуке, а совершенно новое, такое взрослое и понимающее существо, как и сама она... И это поражало и пугало ее почему-то, и она с удивлением смотрела на нее, почти не узнавая в этой серьезной девушке свою Наташу, которая ей еще так недавно казалась совсем маленькою девочкой...

– Меня звал папа, – тихо начала Наташа.

Да... Да... Ведь за этим она и пришла...

– Я знаю, моя дорогая, но... Ты пойдешь?

Наташа как будто слегка удивилась:

– Ведь он же звал меня, мама!..

– Я знаю... Знаю, дитя мое, но я боюсь... Я не знаю... Достанет ли у тебя силы... Наташа, дитя мое, если и ты не уверена, то... Лучше не ходи...

И она нервно, с силой сжала руки дочери, не замечая сама, что ломает их до боли.

– Я не могу не пойти, мама, когда папа зовет меня.

– Но ты... Ты не останешься?.. Наташа, милая, дай мне слово...

Она вдруг зарыдала и, судорожно всхлипывая, припала головой к груди дочери, и, обхватив ее, крепко прижала ее к себе, точно боясь выпустить.

По бледному личику Наташи пробегали судороги.

– Мама, милая, останемся... Останемся... Пускай все будет, как прежде... Он простит... Останемся...

И, тихо плача, Наташа целовала волосы и заплаканные мокрые глаза матери с той нежной лаской, которую они уже так редко видели друг от друга в последнее время.

Марья Сергеевна на мгновение как будто поддавалась этому ласкающему голосу, но через минуту зарыдала еще сильнее...

– Нет, нет, Наташа, это уже невозможно, нет. Дай мне только слово, что ты...

– Да отчего же невозможно?.. Мама, милая!..

– Нет, Наташа, ты не поймешь этого. Теперь уже поздно... Понимаешь, прежнего все равно уже не будет.

Она слегка успокоилась и заговорила уже более ровным голосом, но все еще не выпуская из своих рук руку Наташи:

– Того, что случилось, уже нельзя исправить, и останусь ли я, уйду ли, и в том, и в другом случае прежняя жизнь уже немыслима, и счастливее от того, что я останусь, ни я, ни твой отец не сделаемся. Когда ты вырастешь совсем, ты сама все это поймешь и... Быть может, простишь мне, что я невольно отняла у тебя отца. Верь, Наташа, я мучаюсь, может быть, сильнее, чем он, но переделать уже ничего нельзя... Я хочу только знать твердо, уверенно знать, что ты останешься со мной и не бросишь меня, что бы ни случилось. Если ты мне дашь в этом слово, тогда я не побоюсь отпустить тебя к отцу не только сейчас, но и потом. Ты так папе и скажешь, что, когда ты или он захотите повидать друг друга, это всегда будет зависеть от вас, и я никогда не помешаю, но только прежде дай мне слово, что ты не оставишь меня.

– Я сказала тебе... И ему, еще вчера...

– Никогда?

Наташа посмотрела на нее долгим, точно испытующим взглядом недетских глаз.

– Да, никогда, – твердо, но грустно повторила она за матерью.

Марья Сергеевна радостно вздохнула:

– Моя девочка, моя милая, я тебе верю и теперь спокойна... Теперь, если хочешь, иди к нему, я не боюсь больше.

Она слегка оттолкнула дочь от себя и со счастливой улыбкой смотрела на нее.

– Иди, деточка...

И она все улыбалась ей, как бы ожидая от дочери в ответ такую же улыбку.

И Наташа действительно улыбнулась ей, но как бы одними только губами, а глаза оставались все такими же серьезными, загадочными и строго-холодными.

Наташа ушла, а Марья Сергеевна осталась на том же месте, задумчиво глядя вслед дочери.

– Совсем, совсем уже большая... А я-то...

И она болезненно закрыла лицо руками, и перед ее закрытыми глазами стояла все та же фигура дочери не в гимназическом коротком платьице, а в том, в котором она была сейчас и в котором казалась ей почему-то еще старше, загадочнее и отчужденнее.

II

Когда Наташа вошла в кабинет отца, Павел Петрович с угрюмым, но спокойным лицом ходил из угла в угол большими шагами, заложив руки за свою широкую и немного сутуловатую спину. Павел Петрович решил уехать в этот же день и потому желал проститься с Наташей. Он находил, что это нужно сделать и что уехать, не повидав дочери еще раз, невозможно, но ему было неприятно и как-то совестно видеть теперь кого бы то ни было, даже дочь. И в его взгляде, который он обратил на Наташу, когда та вошла, было что-то сухое и холодное. Он не чувствовал охлаждения к ней за то, что ее мать обманула его; он не сердился на нее даже за то, что она все-таки предпочла ему эту мать; но сознание этого обмана и оскорбления охватывали его таким мучительным стыдом и унижением, что он был не в силах заглушить их в себе даже перед Наташей. Признание жены не породило в нем жгучей, страстной ревности. Но он чувствовал в душе такой стыд, позор, унижение, как если бы ему публично дали пощечину. И теперь, избегая встречаться взглядом с дочерью, он испытывал то самое чувство, которое, казалось ему, было бы уместно в том случае, если бы она была свидетельницей этой пощечины. Чувство это было так сильно в нем, что он предпочел бы лучше совсем не видеть ее в эту минуту. Но это было невозможно, и с тяжелым чувством Павел Петрович покорился, пересилив себя, и призвал ее, чтобы дать ей кое-какие распоряжения по случаю своего отъезда, так как видеть и объясняться еще с Марьей Сергеевной он уже не хотел, предпочитая все переговоры с ней вести

теперь через Наташу. Павел Петрович сознавал, что нужно что-то сделать перед отъездом; что нельзя уезжать так, разом бросая все на произвол судьбы. Но что именно сделать, какие дать распоряжения, это не совсем ясно представлялось ему, особенно теперь, когда Наташа стояла перед ним, и с ней нужно было о чем-то заговорить.

После вчерашнего дня, обрушившегося на него так неожиданно, он чувствовал себя каким-то потерянным и в то же время странно оледеневшим, так что даже прощание с горячо любимой им дочерью не трогало его. Сознавая только его неизбежность, он старался как можно скорее закончить его.

– Я уезжаю, Наташа... – начал он, не глядя на нее, – и сегодня же...

Наташа слегка вздрогнула.

– И хотел проститься с тобой... Я еще не знаю, когда вернусь, во всяком случае, не ранее, чем через месяц, а потому желал бы сделать некоторые распоряжения.

Павел Петрович говорил сухим, деловым тоном, как будто о каком-нибудь официальном деле, инстинктивно избегая не только объяснения, почему он уезжает, но и косвенных намеков на то, что случилось, как избегал бы снова повторять и рассказывать дочери о той пощечине, которую она видела сама. Но он знал, что она понимает его, и надеялся, что, с присущими ей тонким пониманием и деликатностью, не станет и сама заговаривать с ним о том, что он не желал вспоминать при ней.

И действительно, как бы чутьем угадывая его мысли и желания, Наташа молча стояла перед ним, не прерывая и не глядя на него.

Ей было так же, как и прежде, мучительно жаль отца; сознание страшной виновности перед ним, не только материнской, но и своей, теперь уже вполне ясной для нее, мучило ее, а между тем тот стыд, который испытывал он, испытывала и она. Она не понимала только, за кого именно чувствует она этот стыд. Ни отец, ни даже она не сделали ничего дурного, а между тем ей казалось, что ей стыдно не только за мать и за то, что случилось, но и за него, за этого бедного доброго отца, которого она любила так горячо.

Сказав, что он желает сделать распоряжения, Павел Петрович опять несколько смутился, тщательно выискивая в уме и не находя тех распоряжений, которые должен был сделать.

– Но... Но все это, – начал он, вдруг оживляясь, так как в голову ему, наконец, пришла удачная мысль, выведя его из затруднения, – очень сложно и требует обстоятельного изложения, и потому я все это напишу тебе, моя милая, из Москвы в первые же дни по приезде. Затем, в столе лежит около четырехсот рублей... Я их оставлю... Быть может, понадобится там... На что-нибудь... Затем...

Затем Павел Петрович чувствовал, что сказать ему больше нечего, и остается самое тяжелое и трудное – проститься с дочерью и выдержать до конца тот тон деловой официальности, который как бы защищал и удерживал их обоих от слез и выражения своих страданий и горя. Почему не нужно этих слез, он не отдавал себе отчета, но чувствовал только, что этого не нужно, и боялся, стыдясь их.

Всякое сожаление, даже Наташино, явно высказанное, было ему тяжело и оскорбительно. Боясь растрогаться неволью и тем сделаться в глазах дочери и своих собственных еще более жалким, он всеми силами сдерживал себя и говорил все суше и торопливее.

– Во всяком случае, через месяц я надеюсь увидеться с тобой, а пока до свиданья, моя милая...

Он подошел к дочери и, слегка обняв ее одной рукой, другой перекрестил три раза.

Наташа стояла перед ним с серьезным и бледным лицом, с каким-то строгим, сдержанным выражением в глазах, и, когда он перекрестил ее, молча взяла его руку, крепко прижалась к ней губами и несколько мгновений не отнимала ее.

И Павлу Петровичу стало вдруг так мучительно жаль и ее, и себя, и прошлого счастья... Он до боли закусил губу и быстро отодвинул от себя дочь, точно боясь, что не выдержит и зарыдает помимо воли.

Наташе страстно хотелось сказать ему что-то, обнять его, заплакать, но, угадывая, что он не хочет этого, она крепилась и сдерживалась. И, только выйдя за дверь его кабинета, она опустила на первый попавшийся стул и заплакала. Ей вдруг вспомнилось, как страстно молилась она Богу, чтобы Он помог им.

– И все-таки же... Все-таки это случилось... О Господи! Ведь Тебе все возможно... Зачем же... Почему же... Почему... Ты не помог...

III

Павел Петрович уехал. Он, всегда жертвовавший всем ради служебных дел, тут вдруг все бросил. На другой день он не поехал даже в министерство и, только подав заявление о своей болезни, мысленно решил, что будет просить об отпуске, а потом и о полном переводе из Петербурга; куда, в какой город – все равно, но только подальше от всего, что напоминало ему о прошлом, где все знали его прежнюю жизнь, а через неделю будут знать и его позор; где, наконец, он каждый день мог встречать «их».

Служба, карьера, обещавшая быть такой блестящей, все казалось уничтоженным, сломанным и неважным. Ясно, что его отъезд из Петербурга, внезапная просьба о переводе в провинцию испортит все или, во всяком случае, очень многое, дальше он уже не пойдет; но от этого ему не становилось даже тяжелее. Ему казалось, что он потерял так много, что потерять затем больше или меньше – уже безразлично. И он угрюмо сидел в своем купе вагона, стараясь не выходить на станциях, избегая соседей и боясь каждую минуту встретить кого-нибудь из знакомых и услышать чей-нибудь вопрос «про нее».

Почему он ехал именно в Киев, а не в какой-нибудь другой город, он и сам не мог бы сказать. Он просто выбирал то место, где меньше знали его, где он реже бывал и где он сам мог бы слышать и знать «про них» как можно меньше. Надолго ли он задержится и что он будет делать там, он тоже не знал и старался не думать, ища в своей поездке хоть легкого забвения.

Приехав в Киев, пробыв там несколько дней наедине с собой и немного оправившись от первого удара, Павел Петрович много думал о случившемся с ним и, анализируя как сам факт, так и свои лично поступки, пришел к заключению, что поступил слишком поспешно.

Как бы то ни было, но эта женщина, во всяком случае, его жена, он взял ее неопытной девочкой, почти ребенком, и в течение пятнадцати лет она все-таки была прекрасной женой. К тому же она носила его имя, у нее осталась их дочь, и теперь, несколько смягчившись, он решил, что его долг позаботиться о ее дальнейшей судьбе.

Почему-то Павел Петрович плохо верил в любовь к ней Вабельского и возможность ее счастья с ним, но если уж так случилось, то этот господин, во всяком случае, должен жениться на ней. Это было необходимо и для нее, и для дочери; он не может позволить своей жене, носящей его имя, открыто жить с любовником. Но, слабо веря в любовь Вабельского, он еще меньше верил в его желание жениться на Марье Сергеевне и потому решил написать ему следующее письмо:

«Милостивый государь,

пишу вам только потому, что считаю своим долгом позаботиться как о добром имени, так и о дальнейшей судьбе женщины, которая была так близка мне. Я не желаю и не считаю себя вправе насилловать ее чувства и стеснять ее свободу, но я желаю и считаю своим правом знать, что ее увлечение окончится для нее по возможности счастливо и не позорно. Оставляя ей честное имя, на котором до сих пор не лежало ни одного пятна, а также имя моей дочери, доверенной мной ее попечению, я требую, чтобы имена их остались столь же незапятнанными,

как были до сих пор. Не видя для этого иного исхода, кроме брака, я буду с этого же дня хлопотать о разводе. Вину я беру на себя, но за это требую от вас, как от порядочного человека, чтобы, по прошествии месяца со дня развода, жена моя получила ваше имя и права вашей законной жены. В противном случае предупреждаю, что мое снисходительное поведение по отношению к вам, происходящее только из уважения к моей жене, перейдет в более решительные действия, и тогда я буду считать своим правом потребовать от вас, милостивый государь, личного удовлетворения».

Написав это письмо, Павел Петрович начал другое, к Наташе.

«Мое дорогое дитя.

Обстоятельства, разлучившие нас, так потрясли меня своею неожиданностью, что я не успел даже сделать никаких распоряжений. Распоряжения эти касаются только материальных вопросов, так как по вопросам чувства я не могу ничего приказывать тебе. Скажу только, что видеться с тобою, хотя бы время от времени, переписываться в промежутках между этими свиданиями – мое горячее желание, и верю, что это желание найдет отклик и в твоём сердце. Где я буду жить и что предприму, я еще не знаю и сказать решительно в данную минуту не могу; но где бы я ни был, ты всегда будешь знать о моем местонахождении, и по первому твоему желанию мы будем видеться с тобой, когда и где ты захочешь. Не думай, Наташа, что я был бы недоволен и мог бы сердиться на тебя за твое решение – остаться с матерью. Я понимаю твое чувство к ней и не сомневаюсь в таковом же и ко мне с твоей стороны, и как ни больно мне было лишиться тебя, но я нахожу, что ты поступила так, как и должна была поступить. Я сильнее твоей матери, и мне легче, чем ей, переносить испытания; они тяжелее для нее, и я боюсь, что ей предстоит их еще немало, а потому твой долг быть с нею и поддерживать ее в тяжелые минуты. Твоя мать скоро будет женою другого человека. На все воля Божия, и, покоряясь ей, я не хочу осуждать никого, но также не хочу, чтобы тебе, моей единственной дочери, пришлось жить на средства постороннего для меня человека, хотя бы и мужа твоей матери. И потому каждый месяц ты будешь получать от меня сто пятьдесят рублей, из которых сто будешь отдавать матери на твое воспитание и содержание, пятьдесят же оставлять себе на свои личные расходы. Я не хочу, чтобы ты, моя милая девочка, нуждалась хоть в чем-нибудь; мне будет легче, если я буду знать, что ты обеспечена и независима. Когда твое воспитание окончится, ты будешь оставлять себе сто рублей, и если в случае каких бы то ни было нужных и желаемых тобою расходов этого не достанет, то моя не только просьба, но и „приказание“ – обращаться только ко мне. И я надеюсь, моя дорогая, что твое сердце и ум подскажут тебе, почему я этого хочу и почему мне будет больно и обидно твое непослушание мне в этом случае. Засим мысленно горячо обнимаю и благословляю тебя, мое дорогое дитя. Что бы ни случилось с тобою, помни, Наташа, что у тебя есть отец, который любит тебя и никогда ни перестанет думать и заботиться о тебе. Какое бы горе ни случилось с тобою, пиши мне все искренне и откровенно и не переставай никогда видеть во мне того горячего друга, которого ты знала во мне с раннего детства. До свиданья. Горячо целую тебя и благословляю. Я скоро возвращаюсь в Москву и, вероятно, пробуду там с месяц; пиши мне прямо туда, до востребования».

IV

Получив от Павла Петровича письмо, Виктор Алексеевич был страшно раздражен.

Если он допускал временный разъезд Марьи Сергеевны с мужем, то, уж конечно, не для того, чтобы самому иметь удовольствие жениться на ней. Когда Марья Сергеевна написала ему, что муж после объяснения с ней уехал, предоставив ей право развода, Виктор Алексеевич остался очень доволен этим поспешным отъездом, дававшим ему возможность избежать всяких личных переговоров и объяснений, столь не желаемых им и даже отчасти пугавших его. На право развода, предоставляемое Марье Сергеевне мужем, он почти не обратил внимания и

только с легким неудовольствием сказал себе: «Ну ладно, как же...» Вообще же весь оборот, который приняло это дело, казался ему относительно благополучным. В душе он немножечко побаивался, что все это выйдет гораздо хуже и затруднительнее. Правда, тот факт, что Наташа осталась-таки с матерью, сначала рассердил его, но потом, рассудив спокойно, он нашел, что так, пожалуй, и лучше. По крайней мере, это избавляло его от необходимости сожительства с Марьей Сергеевной. Если бы Марья Сергеевна бросила для него не только мужа, но и дочь, то очень вероятно, что она, страстно влюбленная в него и вполне уже свободная, пожелала бы и жить с ним вместе. Виктор Алексеевич прекрасно знал, что на это он никогда не согласится; но подобное желание с ее стороны могло повлечь за собой, в случае его отказа, новые неприятности и истории. Теперь же при взрослой дочери Марья Сергеевна, понятно, и сама не станет желать этого. Наташа, как бы невидимо, будет разъединять их именно настолько, насколько это нужно, чтобы отношения их не сделались бы ни постоянными, ни слишком уж интимными. Очень уж мешать девочка не может; с ней он всегда сумеет справиться, тем более теперь, когда карты раскрыты и нечего опасаться каждую минуту, что она может рассказать что-нибудь папеньке. Теперь папенька и сам все знает. И Виктор Алексеевич с легкой душой и даже в приятном настроении как от удачно выигранного им процесса любезно принял на себя разные хлопоты по случаю переезда Марьи Сергеевны. Как вдруг это проклятое письмо!..

Прочтя его, Виктор Алексеевич даже вспыхнул от злости. В душе он должен был признать себе, что этого письма или вообще какого-нибудь объяснения нужно было ожидать; но, не получая почти неделю ничего подобного, он начал совсем было успокаиваться и думать, что все закончилось. Письмо было неприятным сюрпризом. В первую минуту Виктор Алексеевич призадумался, что ему делать. Следует ли отвечать, и если следует, то как?

Конечно, он не желал жениться на Марье Сергеевне и прекрасно знал заранее, что никогда этого не сделает. Но так прямо и ответить на категорический вопрос Павла Петровича он не хотел, понимая, что тогда все это осложнится еще неприятнее и даже может привести его к чему-нибудь очень для него печальному и, конечно, нежелательному. Не отвечать ничего – тоже было нельзя. Павел Петрович, не получив ответа, мог приехать и потребовать личного объяснения, что будет еще хуже и глупее. Отвечать же согласием и скрепить подобное письмо своею подписью – крайне опасно. Это значило как бы выдать на самого себя добровольный вексель, бумажный документ, которых он всегда терпеть не мог, а особенно в таких щекотливых делах.

Теперь он был не только недоволен, но и негодовал на себя за то, что допустил всю эту «дурацкую» историю с разъездом. Ведь шло же дело прекрасно и без всяких разъездов; очень нужно было добровольно засовывать голову в петлю.

Виктор Алексеевич размышлял почти целый день, как ему поступить, чтобы, не подвергаясь опасности, найти для себя удобный и благополучный исход.

В сущности, ввиду таких неприятных осложнений, он был бы очень рад хоть сейчас развязаться с этой историей и покончить всякие отношения с Марьей Сергеевной, превращавшиеся из легких и приятных в затруднительные и неприятные. Но он понимал, что теперь это невозможно. Павел Петрович, узнав о подобной развязке, вместо развода потребует удовлетворения.

«Черт знает, что такое! – говорил себе Виктор Алексеевич со злостью и раздражением. – Как все это глупо вышло! И кой черт толкал меня соваться во всю эту путаницу?»

Он был зол и недоволен и собой, и обстоятельствами, и своим лакеем Аристархом, и Марьей Сергеевной, и проигранным, в довершение всех благ, в суде одним важным для него делом.

«Ну, полоска пошла! Одно за другим!»

Наконец, он решил написать Павлу Петровичу следующее:

«Милостивый государь.

Прошу вас быть вполне уверенным, что ваше предложение не только не встретит препятствий с моей стороны, но что я сам, лично, буду споспешествовать, насколько возможно, скорейшему его окончанию. Примите уверение в совершенном почтении готового к услугам вашим В. А. Вабельского».

Перечитав свое послание, Виктор Алексеевич остался им доволен. Ни имен, ни ясных обещаний, никаких фраз, могущих скомпрометировать и обязать его к чему-нибудь! А между тем ответ вполне ясный, точный и прямой, хотя настоящий смысл его может быть понятен только Павлу Петровичу, тогда как никому другому ответ его не объяснял, о каком деле говорится в письме. Вабельскому, как присяжному поверенному, не раз приходилось посылать подобные письма своим многочисленным клиентам по официальным делам.

Ответ временно освобождал его от дальнейших неприятных столкновений и объяснений с Павлом Петровичем, а между тем, прежде чем этот глупейший развод будет окончен, он придумает какой-нибудь иной исход, да, наконец, и сами обстоятельства, быть может, сложатся еще так, что избавят его не только от женитьбы, но и от всей этой пошлой истории, в которую он впутался, как мальчишка, глупо и неосторожно. К тому же развод всегда можно более или менее затянуть, а ему, с его знакомствами в суде и консистории, это даже проще, чем кому бы то ни было. И, стараясь успокоиться и выйти из того дурного расположения духа, которое нагнали на него все эти размышления, Виктор Алексеевич умылся, причесался и оделся, как всегда, с особенной заботливостью и вниманием, и поехал по разным делам.

V

Последние возы загружались перед растворенным настезь парадным подъездом Алабиных.

Марья Сергеевна, следя за переноской, печально сидела на вынесенном из мужниного кабинета кресле в своем опустевшем будуаре. Она тоскливо смотрела, как выносили вещь за вещь, и сердце ее сжималось ноющей болью.

Каждая вещь вызывала в ней воспоминание о чем-то далеком, отрадном и милом... Сколько вещей уложила она своими руками, сколько попало ей вещей уже старых, позабытых, и только во время укладки вновь попавшихся на глаза... Каждая из них имела свою историю и разворачивала перед ней свою страничку, страничку прошлой жизни... Еще дороже казались ей те вещи, которые она оставляла здесь. И взглядами, ласковым прикосновением руки она прощалась с ними, как с живыми, близкими ей существами, товарищами ее прежних, счастливых и спокойных дней.

В этой квартире она прожила почти одиннадцать лет, и теперь эти годы вставали в ее памяти ожившими до мельчайших подробностей.

Она так страстно желала еще неделю назад свободы, независимости и начала совсем новой, иной жизни. И вот это совершилось, все сделалось так, как она хотела, а в душе она чувствовала только боль, тоску и пустоту. Мысль о Вабельском уже не вызывала в ней особенной радости и счастья.

Так сильны были еще над ней власть прошлого и привычки, и только теперь она поняла это. С этого дня кончалась ее прежняя жизнь, с ее привязанностями, привычками и условиями, и все это ей казалось теперь лучше и дороже, чем прежде. Она поняла, что воспоминания об этом прошлом будут отравлять и портить ее новое счастье и жизнь, и эта новая жизнь и счастье, которые она сама же избрала, не казались ей уже такими полными и прекрасными, как в то время, когда она еще только мечтала о них.

С невольным охватившим ее сомнением и ужасом она спрашивала себя: то ли это, чего она хотела, и если то, действительно ли оно было нужно и хорошо. Серьезное, печальное лицо дочери, как бы постаревшее за эти дни, смущало ее еще сильнее.

Она угадывала ту бурю, которую сама же подняла в душе Наташи. Марья Сергеевна не могла скрыть от себя, что в горе Наташи виновата она одна, и сознание этой вины мучило ее совесть, но исправить зло она уже не могла.

Когда последний воз был уже уложен и люди пришли сказать ей, что все готово, она тяжело поднялась с кресла и, сказав, чтобы ее ждали внизу, прошла в кабинет мужа.

Там все было по-старому. Его кабинет, столовая и зала остались нетронутыми; каждая вещь стояла на том самом месте, где она помнила ее и две недели, и десять лет назад.

Все знакомо, каждая вещь, каждый угол... Сколько тут поставленного ее же рукой!.. Она грустно переводила глаза с одной вещи на другую; задумчиво взглянула на портфель мужа, лежавший под ее рукой.

«Он тоже несчастлив, – подумала она, и глаза ее затеплились мягким, влажным светом, – оттого и я не чувствую счастья... Они несчастливы оба... Мое счастье вытекает из их несчастья, и такое счастье не может быть полным...»

В соседней комнате раздался голос Фени, спрашивавшей у носильщиков, где барыня.

Марья Сергеевна нетерпеливо откликнулась и, выйдя в залу, остановилась на минуту около двери, запирая ее на ключ. Ключ до приезда Павла Петровича нужно было отдать швейцару. Когда замок щелкнул протяжным металлическим звуком, ноющая тоска опять охватила ее сердце.

Феня, с узлами и картинками, сидя на окне, ожидала ее в опустелой гостиной. Подходя к гостиной, Марья Сергеевна слышала, как Феня, любившая выражаться по-книжному и деликатно, сказала кухарке:

– Точно развалины...

Марья Сергеевна вздрогнула.

Да... Правда, это развалины всего прежнего, прошлого, и на них она строит новое... Ей вдруг вспомнилась притча из Евангелия о том, как один человек построил дом свой на песке, и дом не выдержал первых же дождей и ветров и рухнул. «И это рухнет...» – сказала она себе, и в это мгновение ей было так ясно и понятно, что оно должно рухнуть. Но, как бы испугавшись своего предчувствия и желая отогнать его, она начала торопливо расплачиваться и раздавать на чай всем ожидавшим ее дворникам и носильщикам. На всех этих лицах ей виделись любопытство и недоумение, и мысленно она уже слышала все те сплетни, которыми все они втихомолку судят и рядят ее теперь, за ее же спиной. Она сконфуженно краснела и, стараясь ни на кого не глядеть, поспешно спустилась с лестницы. Наташа дождалась ее уже в карете. Но когда карета тронулась и стоявшие на крыльце швейцар и дворники сняли перед ней в последний раз шапки и кланялись им на прощание с каким-то точно сожалением, Марье Сергеевне стало вдруг так жаль не только опустевшей квартиры, но даже этих добродушных бородатых лиц, которые она в течение многих лет привыкла видеть и встречать почти каждый день. Она невольно подняла кверху глаза и взглянула еще раз на оголенные, темные окна своей квартиры. Только на окнах залы и кабинета шторы были опущены, точно там был тяжелобольной.

Наташа еще долго, пока они не повернули за угол и дом совсем не скрылся из виду, смотрела из кареты на его темные окна, убегающие вдаль... И когда их совсем не стало видно, она вдруг заплакала и, быстро вытирая глаза, старалась, чтобы мать не заметила этого.

– Прощай, папа... – сказала она, тихо плача.

VI

Перебравшись на новое место, Марья Сергеевна стала жить очень замкнуто и уединенно. Вся ее история с Вабельским и с разводом скоро разнеслась по всему кругу ее знакомых и сделалась поводом для сплетен и пересудов. Хорошо сознавая всю двусмысленность своего положения, она и сама тщательно избегала встреч со всеми прежними знакомыми.

Прошло почти полгода со времени ее расставания с Павлом Петровичем, а ощущение чего-то неопределенного, неизвестного, непостоянного, которое она испытывала тогда, не проходило и теперь. Она поневоле сознавалась себе, что раньше, мечтая, она представляла себе новую жизнь совсем не такой, какой она оказалась в действительности. Порой ей даже казалось, что прежде было лучше; тогда еще все надежды и мечты возлагались на будущее, а теперь это будущее стало настоящим, а надежд и веры становилось все меньше. И впереди, кроме рождения ребенка, которого она ожидала со странным чувством тревоги и радости, почти не могло уже случиться ничего такого, что снова повернуло бы ее жизнь к лучшему. Она старалась заглушить и подавить в себе чувство пустоты, когда оно слишком сильно подступало к сердцу, приписывая его всему: и ложности своего положения, и болезненному состоянию беременности, и укорам совести за мужа и дочь. И только настоящую причину его она не хотела понять, хотя осознание этой причины неявно жило в ней.

Причина была та, что она инстинктивно чувствовала в Вабельском недостаток любви. Этим инстинктом она также понимала и непрочность своего счастья с ним и невольным предчувствием предугадывала в будущем нечто еще более худшее и более тяжелое, чем то, что было теперь. Но чем сильнее говорило в ней это предчувствие, чем меньше веры оставалось в прочность его любви к ней, тем больше любила она его, как бы только из страха потерять его совсем. Она знавала, что в нем – весь интерес, вся полнота и прелесть ее существования, что без него жизнь ее будет окончательно разрушена и бесцельна, и инстинктивно цеплялась за него, как за единственное спасение. Сама громадность ее жертв, принесенных ему и исковеркавших весь строй ее жизни, заставляла ее еще горячее привязываться к нему.

Бракоразводный процесс шел очень медленно и, затягиваемый различными проволочками, грозил не закончиться по крайней мере еще год. Но в душе Марья Сергеевна была бы довольна, если бы муж вообще не поднимал этого вопроса. Его великодушие и доброта порой даже тяготили ее, а мысль, что он берет всю вину на себя и пачкается из-за нее в грязи ложных на себя свидетельств, была ей противна и тяжела, тем более что она хорошо понимала всю бесполезность этого развода. Перестать верить в то, что Вабельский любит ее все так же страстно и горячо, как ей это казалось вначале, она не хотела да и не могла, но она хорошо понимала, что он не хочет жениться на ней.

Он сам несколько раз намекал ей более или менее ясно, что брак не в его принципах и что, по всей вероятности, он никогда не женится. Марья Сергеевна со своей врожденной деликатностью и застенчивостью и не обязывала его к этому не только словами, но и мысленно.

Единственное, чего она желала, это не потерять его совсем. И, очень боясь этого, она довольствовалась теми крохотными правами, которые отчасти у нее были на него, и не требовала ничего большего, боясь потерять и последнее. Но все-таки Марья Сергеевна не могла бы сказать, что она была совсем несчастлива. Она так любила его, что уже сама сила этого чувства давала ей некоторое счастье. И, любя его так страстно, она находила счастье в том, что не удовлетворило бы другую женщину, любящую менее горячо и ослепленно. Каждая маленькая его ласка делала ее уже счастливой, и, радуясь ей, она забывала всякое горе. Будущее, правда, пугало ее, особенно сильно – в моменты, когда этих ласк с его стороны не было. Живя с мужем, она всегда представляла себе свое будущее простым, ясным и определенным. Теперь же, думая порой о нем, она терялась и, не будучи в состоянии хоть как-то представить его себе, начинала пугаться и бояться его.

Павел Петрович перевелся в Москву и жил там, переписываясь время от времени с дочерью. Иногда Наташа приносила эти письма матери. Но и Марья Сергеевна, и сама Наташа чувствовали какую-то неловкость и смущение, читая их вместе, а потому, как бы молча сговорившись, старались умалчивать о них. Мать с дочерью редко говорили об отце. Каждый подобный разговор стеснял их, и воспоминания о чем бы то ни было, касавшемся прежнего, были им обеим неприятны и тяжелы. Та страстная, трогательная жалость к матери, которую

Наташа впервые почувствовала накануне возвращения отца и продолжала испытывать почти все время до полного разрыва Марьи Сергеевны с мужем, стала постепенно опять исчезать в ней. Наташе было за это стыдно, но вызвать ее в себе вновь она почему-то уже не могла. Она не могла точно определить то время, когда в ней началось это новое охлаждение и отчуждение к матери; но ей казалось, что, скорее всего, это началось в ту самую минуту, когда она с плачем кинулась на шею к отцу, как бы прося этим простить ее за то, что она выбирает мать, а не его. Наташа выбрала мать, так как в ту минуту ей казалось, что она не в состоянии будет жить без нее, и еще из чувства какого-то нравственного долга, который обязывал ее, как она думала, не бросать мать и защищать ее в несчастье. Но когда Наташа сделала этот ужасный для нее выбор, заставлявший ее отказываться от одного из горячо ею любимых существ, в душе ее невольно и бессознательно поднялось чувство горечи и раздражения против того из них, во имя которого она отказывалась от другого. С тех пор эта горечь не проходила и, часто растрavляемая явными доказательствами страстной любви матери к Вабельскому, сильнее поднималась в душе девочки и больше портила их и без того уже неискренние отношения. Они мало говорили друг с другом, каждая из них жила своей внутренней жизнью, что еще больше разъединяло их, и симпатии, стремления, мечты и надежды – все было у них разное, и мечты одной противоречили желаниям другой.

К этому в Наташе прибавилась тоска по отцу и «по прежнему». Она не могла забыть это «прежнее» и страстно обращалась к нему всей душой. Оно составляло для нее цель всех желаний и надежд. И так как она видела мать совершенно переродившейся и принадлежащей всецело тому новому, которое Наташа глубоко ненавидела, то все «прежнее», святое и счастливое, воплотилось для нее в образе отца. Любовь ее к нему стала сильнее, чем когда-нибудь, но хотя совесть и мучила ее за измену ему, она все же знала теперь, что не бросит мать и не уйдет от нее. Она видела ее слабой, беспомощной, запутавшейся в чем-то ужасном и, чувствуя себя морально сильнее и тверже, считала своим долгом не оставлять ее, быть при ней, помогать и защищать ее от того «ужасного», в чем она запуталась. Как это сделать, как может она защитить мать, Наташа и сама не могла четко определить себе. Но, ненавидя Вабельского всеми силами души, она знала только, что он-то и есть источник и виновник всего зла и несчастья, постигшего их семью, и что именно он-то и есть тот страшный враг, то «ужасное», против чего она должна бороться до последней возможности. Наивная, неопытная и несколько экзальтированная, как и вообще подростки в пятнадцать лет, она часто, лежа по ночам у себя в постели, придумывала, как освободиться от Вабельского, и создавала мысленно целые романы. Она то убивала его, что не вызывало в ней ужаса и страха, но, напротив, она мысленно совершала это с тем чувством наслаждения, с каким в действительной жизни раздавила бы ядовитую гадюку, готовую ужалить ее мать. То она жертвовала как-то собой, своей жизнью, и мать, растроганная ее жертвой и смертью, раскаивалась и сама возвращалась к отцу. То какой-то иной, нравственной силой она побеждала своего врага, вырывала из сердца матери ее несчастную любовь к нему, и они вместе возвращались к отцу, к прежней жизни и счастью. Порой ей казалось, что все это только страшный сон, кошмар; вот-вот она проснется, и тогда все пройдет и окажется неправдой. Иногда, просыпаясь поутру, она спрашивала себя: не сон ли все, что было, и медлила открыть глаза, мечтая, что, раскрыв их, увидит опять знакомые милые стены их старой квартиры на Николаевской. По ночам, когда она лежала одна в темной комнате, разгоряченная и взволнованная мечтами, ей все это казалось простым, легко осуществимым; но днем, когда она снова возвращалась в реальную жизнь, ее ум, которому свойственна была частица трезвости и деловитости отца, снова понимал всю несбыточность и невозможность ее грез. Часто также и особенно опять-таки по ночам она силилась мысленно представить себе, где теперь отец, что делает в эту минуту и что думает. Она создавала в своем воображении отчетливую, до мельчайших подробностей картину, в которой мысленно видела не только его самого, но и то, что, по ее мнению, должно было окружать его в эту минуту. Она видела мебель, его письмен-

ный стол с бумагами, стакан чаю с серебряными решеточками подстаканника и круглым кусочком лимона, плававшим в нем, точно так же, «как тогда было при них»; а его лицо, фигура и руки, выглядывающие из широких рукавов накрахмаленной рубашки, застегнутых круглыми, плоскими, его любимыми запонками черного серебра, рисовались ей так ясно и живо, что ей хотелось броситься к нему на шею и крепко прижаться к этой волосатой милой руке. И она зажмурилась, чтобы еще яснее увидеть перед собой эту мысленную картину, и по той складочке, которую, как ей казалось, она видит между его бровей, она чутьем угадывала всю тоску его одиночества, и страстная жалость и любовь к нему еще сильнее охватывали ее. И, плача сама, она начинала утешать его, говорить с ним и ласкать его. Чем больше она думала об отце, тем отвратительнее и ужаснее становился для нее Вабельский. Она ненавидела не только его самого, но и каждую черту его порознь: его фигуру, лицо, голос, брови, взгляд, зубы – все, что составляло каким-нибудь образом его принадлежность. Как собака или перчатка Виктора Алексеевича вызывали в Марье Сергеевне отблеск нежности и любви, так эти же собака и перчатка Наташу заставляли бледнеть и вздрагивать от какого-то гадливого чувства. Даже руки своей она не могла протянуть ему без того, чтобы не почувствовать в себе этого чувства гадливости. И когда она видела его, у нее сразу менялось не только расположение духа, но и само лицо и голос.

Виктор Алексеевич прекрасно понимал, какое чувство вызывает он в Наташе, и от всей души платил девочке тем же. Но, сознавая свое превосходство и силу, он иногда с каким-то наслаждением старался нарочно разжечь и раздражить ее, как бы желая этим и отомстить, и показать ей нагляднее все ее бессилие. И, зная, чем быстрее всего можно возмутить ее, он начинал нарочно при ней показывать свое влияние и близость к Марье Сергеевне. Говорил ей «ты», ласкал, требуя, шутя, в ответ таких же ласк, и взглядывал при этом на Наташу своими светлыми насмехающимися холодными глазами, как бы мысленно говоря: «Что, волчонок? Чья взяла?».

Наташа инстинктивно чувствовала, что он делает это нарочно, назло ей, – она бледнела, глаза ее вспыхивали злым огнем, и прилив ненависти охватывал ее с такой страстной силой, что она забывала все и, чувствуя на себе этот его взгляд, внутренне издевающийся над нею, как бы безумела. Ее одолевало страстное желание броситься на него и, вцепившись в его горло, задушить его, с мучительным наслаждением, собственными руками. И она до боли закусывала губы и убегала к себе с помутневшими глазами, задыхаясь от внутренней борьбы.

Марья Сергеевна, сдерживавшаяся, стеснявшаяся прежде и избегавшая быть при дочери очень ласковой с Виктором Алексеевичем, постепенно привыкла к ее присутствию и, незаметно даже для себя самой, начала сдерживаться все меньше и меньше. Сначала она не разрешала Вабельскому приезжать к ним на квартиру очень часто и подолгу оставаться у них. Она предпочитала сама ездить к нему, где чувствовала себя более свободной. Но ее беременность, крайне тяжелая, осложнившаяся еще и болезненными сердечными приступами, часто заставляла ее не только не выходить подолгу из дома, но и лежать по несколько дней в постели. Тогда ей было тяжело не видеться с ним так долго, и она сама посылала за ним. Он приезжал, просиживал несколько часов, и она сама удерживала его, чувствуя страшную тоску при мысли, что он уедет и что она опять останется одна, больная и беспомощная и, быть может, не увидит его ни завтра, ни послезавтра. Если в комнате была Наташа или горничная, Марья Сергеевна сдерживалась, сколько могла, говорила с ним на «вы», каким-то особенным, плохо выдержанным официальным тоном и только украдкой сжимала на мгновение его руку в своей и не сводила с него влюбленных жадных глаз. Но как только они уходили, она сейчас же, как будто спеша вознаградить себя за добровольное лишение и притворство, переходила опять на «ты» и осыпала его беззвучными, но страстными поцелуями и ласками, от которых Виктор Алексеевич слегка морщился и отстранялся. Иногда она не выдерживала даже и при Наташе, и у нее вырывался невольно какой-нибудь влюбленный жест, слово, взгляд. Часто она проговаривалась и

при дочери называла его на «ты». Выдав себя таким образом, Марья Сергеевна вспыхивала и бросала на Наташу быстрый сконфуженный взгляд. Но Наташа с угрюмым упрямством не поднимала на нее глаз, а по ее лицу трудно было определить, заметила она промах матери или нет. В большинстве случаев, как только Вабельский приезжал, она уходила к себе. Но ее комната была через стену от материнской, и она не только слышала голоса, но если они случайно повышались, то до нее ясно долетали и слова. Тогда она краснела и быстро вскакивала, чтобы опустить портьеру на своей двери. Она крепко зажимала уши руками и начинала вслух долбить какой-нибудь урок, стараясь своим голосом заглушить те слова, что раздавались в соседней комнате.

Но мучительнее всего было для Наташи понимание, что у ее матери скоро будет другой ребенок. Ей казалось это чем-то таким ужасным, обидным и оскорбительным, что она почти не верила в подобную возможность. А между тем эта возможность делалась все очевиднее и все приближалась. Она видела изменившуюся фигуру матери, ее болезненные приступы, и при виде их и этой фигуры Наташу охватывало брезгливое и неприятное чувство. Ей делалось противно, и горечь сильнее поднималась в ее душе. Марья Сергеевна сначала старалась отчасти маскировать от дочери свое положение, но потом она поняла, что дочь все равно догадалась. Наташа часто заставляла мать за шитьем крошечных рубашек и пеленок; при ее появлении Марья Сергеевна всегда торопливо прятала их из какого-то тайного чувства, не позволявшего ей готовить белье будущему ребенку своего любовника в присутствии дочери своего мужа. Но с течением времени прошло постепенно и это чувство.

Чем больше они расходились с Наташей, чем более чуждыми становились друг другу, тем с большей нежностью думала Марья Сергеевна о будущем ребенке. Чувствуя непрочность любви Вабельского, охлаждение с дочерью, разрыв с мужем и полный распад всей жизни в случае, если Вабельский бросит ее, она инстинктивно искала в этом ребенке новой цели, нового источника счастья и жизни, новой привязанности, без которой не могла обойтись. Порой ей даже казалось, что в этом ребенке воскреснет ее прежняя Наташа, которая осталась где-то в далеком прошлом и по которой она так часто и горько тосковала...

VII

В ночь на 29 марта у Марьи Сергеевны родился сын.

Наташа с каким-то болезненным и тревожным ощущением прислушивалась к страшным крикам, долетавшим до нее из комнаты матери. Силой природного женского инстинкта она не только постигала всю муку этой ужасной боли, но, слыша эти душераздирающие крики, она как бы чувствовала и в себе то страдание, которое должна была испытывать ее мать. Ощущение этой боли делалось порой до того реальным и острым, что она даже хваталась за грудь и крепко прижимала ее, так как ей казалось, что эту боль она чувствует именно в груди, то есть там, где, она думала, ее чувствует и Марья Сергеевна... Но в то же время в душе ее не было жалости к матери. Жалость заглушалась в ней сознанием, что в новом страдании матери виноват все тот же Вабельский, то есть ее враг, которого в эти минуты она ненавидела сильнее, чем когда-нибудь. Еще год назад Наташа не сумела бы понять, каким образом этот ребенок мог быть ребенком Вабельского, а не ее отца, за которым ее мать была замужем. Но за этот год она приучилась думать, наблюдать, вглядываться и допытываться до всего; ей пришлось пережить и испытать больше, чем следовало бы в ее возрасте, и врожденный инстинкт женщины развился в ней постепенно, и многое ей стало бессознательно понятно. В силу этого инстинкта она еще задолго до рождения этого ребенка поняла, что он чужой для ее отца, а следовательно, и для нее. Она не находила в себе даже простого участия, и одна мысль, что отец этого ребенка – ее заклятый враг, уже настраивала и ожесточала ее и против самого ребенка. И, думая о нем, она чувствовала почти такую же ненависть, какую чувствовала к его отцу.

Наташа не раздевалась и не ложилась спать всю ночь. Сидя на подоконнике, она машинально смотрела на темную пустую улицу, чутко прислушиваясь к тому, что делалось в соседней комнате. На дворе моросил частый дождик, небо начинало уже бледнеть, и занимался серенький дождливый день, более напоминающий позднюю осень, чем раннюю весну.

Постепенно Наташа привыкла к стонам, доносившимся изредка из спальни. И лишь при каком-нибудь особенно громком крике она вздрагивала и тревожно приподнимала голову, несколько мгновений глядя на запертую дверь испуганными, широко раскрытыми глазами.

К утру ее одолела, наконец, усталость. Все кости ее болели; от неудобной напряженной позы, в которой она просидела на окне всю ночь, у нее затекли ноги и ломило поясницу. Она встала, слегка потянулась и подошла к кровати. Ей страшно хотелось прилечь, во рту у нее неприятно пересохло, а в голове стучала, приливая, кровь; но, боясь заснуть, она не хотела ложиться совсем и, только присев на раскрытую постель, устало опустила на подушки голову. Хотя она даже не вытянула ноги, но ей вдруг показалось необыкновенно удобно и хорошо на этой постели. Она свернулась калачиком, подсунув руку под голову, легла, как любила, бывало, лежать еще маленькой. Ощущение тепла, разлившегося по всему ее телу, вдруг как-то отодвинуло от нее и крики матери, и рождение ребенка, и все, о чем она думала...

В соседней комнате что-то говорили...

Наташа крепко спала на боку в той самой позе клубочком, в которой заснула. Край одеяла соскользнул с нее и, открыв ее спину, упал на пол, но она не чувствовала ничего, не видела снов и ни разу не повернулась на другой бок. Только лицо ее все разгорелось и пылало ровным ярким румянцем, да на лбу, около корней темных волос, выступили маленькие влажные капельки пота. И она долго бы так проспала, но что-то вдруг стало ей мешать. Какой-то звук... Что-то где-то кричало, и сквозь сон она слышала этот крик; он смутно тревожил ее, как иногда тревожит спящего человека жужжащая вокруг его головы неотвязная муха. Как бы желая заглушить для себя этот мешающий ей крик, Наташа сквозь сон потянула повыше на себя одеяло. Но звук продолжался, постепенно разрушая ее сон; она нетерпеливо потрянула головой и нехотя повернулась на другой бок, думая, вероятно, прекратить звук этим движением. Он как будто стих, но через мгновение поднялся с новой силой, и ей казалось, что он не только продолжается, но и усиливается, превращаясь в какой-то пронзительный плач, и приближается к ней. Она лениво открыла глаза и нехотя приподняла голову. В первое мгновение она ничего не могла сообразить и с неудовольствием оглядывалась вокруг сердитыми, еще совсем сонными, слегка покрасневшими глазами. И вдруг звук, разбудивший ее, раздался так ясно и близко, что она даже вздрогнула...

С испугом вслушиваясь в этот громкий плач, которым кричат только новорожденные, да еще самые маленькие, грудные дети, Наташа встала с постели, осторожно подошла к двери и молча слушала с тем же выражением как бы испуга и удивления на лице. Наконец, плач стал затихать, затихать и прекратился совсем.

В соседней комнате кто-то ходил, баюкая, по-видимому, ребенка. Наташа ясно слышала то «шши, шши, шш», которым няньки укачивают обыкновенно ребенка.

Потом кто-то, кажется, акушерка, громко проговорил:

– Нет, кормить рано... Просто ромашки тепленькой дать...

Наташа тихо вздохнула и, отойдя от двери, села на стул.

Теперь она все прекрасно вспомнила и поняла. Не помнила только одного, когда она заснула и сколько проспала. Было уже совсем светло, дождь прекратился, но небо по-прежнему было обложено дождевыми серыми облаками.

Она прекрасно помнила, что не хотела засыпать всю ночь именно потому, что хотела дожидаться «этой» минуты. Почему она этого хотела, она не могла объяснить себе. И теперь ей было досадно, что она все-таки проспала и не дождалась. Теперь она менее чем когда-нибудь чувствовала к этому ребенку предубеждение и злое чувство. Скорее, в ней было к нему какое-

то любопытство. И мысленно она даже силилась представить себе, какой он. Она никогда не видела еще новорожденных, и этот ребенок пробуждал в ней теперь любопытство женщины, желающей узнать то, чего она еще не знает.

– Он, наверное, будет похож на него... – сказала она себе, и при этой мысли добродушное любопытство вдруг стало затухать в ней и снова сменяться отталкивающим и неприятным чувством.

Наташа угрюмо сидела на стуле, когда вошла Феня с кувшином холодной воды, как каждое утро, для умывания.

– Да уж вы и встали! – сказала Феня. – А мы думали, еще спите, я уж будить пришла, одиннадцать часов скоро... И гимназию свою проспали.

И она остановилась, взглянув Наташе прямо в лицо своими плутоватыми, усмехающимися глазами, с тем выражением, которое часто появляется у людей, когда они хотят объявить какую-нибудь интересную новость.

– А вам Бог братца послал!

Наташа вспыхнула и быстро скользнула взглядом с лица Фени на кувшин, который она держала в руках.

– Хорошенький такой, – продолжала Феня, – розовенький да такой большой, просто, можно сказать, на удивление ребеночек, даже бабушка удивляется: красавчик, говорит, будет...

Наташа все ниже и ниже опускала глаза, и пунцовая краска, залившая ее щеки, разлилась вдруг и по лбу, и по шее, и загла даже уши.

«Нет, зачем она мне это говорит, – думала она, – зачем?.. Она знает, что мне неприятно... О, все, все они перешли „к нему“. Даже эта Феня, которую нанял еще отец».

И ей страшно хотелось заплакать и оттого, что «у нее братец родился», и оттого, что Феня нарочно дразнит ее, как ей казалось, и оттого, что в эту минуту она лучше и яснее, чем когда-нибудь, сознавала, что то «прошлое», о котором она все еще мечтала, уже окончательно невосвратимо и невозможно.

– Да, – сказала она себе, – теперь уже нельзя, совсем нельзя...

И она вдруг резко оборвала Феню:

– Ну, давай мыться...

Феня подошла к умывальнику и, поливая водой на руки Наташи, продолжала все с тем же плутоватым и непонимающим видом рассказывать и о «маленьком», и о том, как барыня мучились, а теперь радуются, и о тому подобных вещах.

Наташа не совсем ошибалась. Между ней и Феней давно уже возникла скрытая неприязнь и даже борьба, начало которой положил опять-таки Вабельский.

Вабельский всегда был очень щедр с чужой прислугой, лакеями и швейцарами и потому был у них в фаворе. За эти полгода Феня не только вполне освоилась с новым хозяином, но почувствовала к нему даже ту особую слабость, которая часто появляется у женской прислуги к красивому и щедрому барину.

К Павлу Петровичу Феня относилась с той сдержанной насмешливостью, с оттенком даже легкого презрения и сознания собственного превосходства, с каким относилась и к Марье Сергеевне, и к Наташе, и почти ко всем другим господам, которым служила. К Виктору же Алексеичу она чувствовала какое-то почтение, не только лично к нему, но и к его красоте, и к тому особенному тону, которого он с ней держался. Скорее любезный и даже шуточный, но вполне игнорирующий ее и ни на одну секунду не позволяющий ей забыться перед ним, он пленял ее и как прислугу, и как женщину, и она служила ему с особенным старанием и удовольствием. Именно вследствие этого и завязалась затаенная борьба между ней и барышней.

Наташа огорчалась, видя, что Феня перешла совсем на сторону Вабельского, и не любила ее за это; Феня же и раньше не чувствовала к барышне особенной нежности, а теперь, зная ее

ненависть к Вабельскому, никогда не упускала случая подразнить ее чем-нибудь. Из-за этого у них часто завязывались ссоры, доходившие даже до Марьи Сергеевны. И Марья Сергеевна, дорожившая Феней именно за ее преданность Вабельскому и убедившаяся за последнее время, что у Наташи действительно дурной характер, нередко принимала сторону горничной, что всегда возмущало и оскорбляло Наташу чуть ли не до слез. Марья Сергеевна за последнее время не только привыкла, но даже привязалась к Фене – настолько, что почти не могла обходиться без нее. Феня знала всю историю, знала ее отношения и к мужу, и к Виктору Алексеичу, и к Наташе и, по-видимому, не только не порицала их, но отношение к Вабельскому даже одобряла. Марья Сергеевна, внутренне вечно искавшая себе защиты и оправдания, была в душе очень благодарна своей горничной, понимавшей и не порицавшей ее. Мало-помалу она делалась с ней, сама того не замечая, все откровеннее и откровеннее. Марья Сергеевна никогда не уставала говорить про Вабельского, Феня всегда слушала все, касавшееся его, с заметным удовольствием. Вследствие этого Марья Сергеевна и дорожила Феней, и, в то же время почему-то постоянно боясь, что она отойдет от нее, старалась задобрить ее деньгами, подарками и во всем уступать ей. В сущности, в доме было два хозяина: Вабельский и Феня, – остальные исполняли только их приказания и служили им. Феня прекрасно поняла и воспользовалась своим новым положением; у нее сразу появился какой-то особенный авторитетный тон и с господами, и с остальной прислугой в доме, с которой она держала себя полной хозяйкой, зная заранее, что всегда сумеет заставить барыню отказать, кому захочет, и взять, кого попросит.

VIII

Около двенадцати часов Феня опять пришла к Наташе и сказала ей, что Марья Сергеевна просит ее к себе. Наташа удивилась; она почему-то не ожидала, что мать захочет видеть ее так скоро. Она поспешно вышла из комнаты. Нужно было идти кругом, через коридор и гостиную, так как по случаю болезни матери дверь, ведущая в комнату Наташи, была загорожена диваном, на котором спала Феня.

Наташа торопливо шла по темному коридору; ей было и жутко как-то, и совестно от того, что она сейчас увидит, и в то же время любопытно.

Войдя в комнату Марьи Сергеевны, она в первую минуту ничего не могла разобрать в полумраке от опущенных синих штор.

Но Марья Сергеевна сама окликнула ее.

– Это Наташа? – спросила она тихим, совсем пропавшим за ночь от ужасных криков голосом.

– Да, это барышня вошла! Можете, барышня, подойти к мамаше; только много разговаривать не дам.

Наташа только тут заметила, что в комнате, переливая что-то из чайника в стакан, стоит Анна Васильевна, акушерка, принимавшая роды у матери. И, заметив ее, Наташа в душе обрадовалась.

«По крайней мере, не вдвоем».

Она чувствовала, что в эту минуту остаться с матерью с глазу на глаз ей было бы неловко и тяжело.

– Наташа, пойдись ко мне, – позвала ее опять Марья Сергеевна и, как бы желая привлечь к себе дочь, протянула ей руку.

Наташа подошла ближе к кровати и остановилась с растерянным выражением лица, которое всегда появлялось у нее, когда она бывала чем-нибудь сильно смущена. Но, заметив, что Марья Сергеевна хочет поцеловать ее, она торопливо наклонилась и, взглядывая искоса в тот угол, где стояла Анна Васильевна, как бы желая убедиться, что она еще тут, быстро и застенчиво поцеловала Марью Сергеевну в бледный влажный лоб. И в то время как она, наклонив-

шись, целовала мать, она вдруг почувствовала между собой и ею чье-то еще чуть заметное дыхание и увидела прямо перед собой маленькую красную сморщенную головку, тихо и как-то странно чмокавшую крошечным ртом.

Наташа снова вспыхнула, ноздри ее дрогнули, раздулись, и потемневшие сразу глаза заискрились теми холодными зеленоватыми огоньками, которые Марье Сергеевне напомнили холодный блеск глаз Павла Петровича в ту минуту, когда она признавалась ему про Вабельского.

Марья Сергеевна поняла, что Наташа заметила ребенка, но, как это на нее подействовало и что она теперь думает и чувствует, по лицу ее понять не могла. Наташа молча смотрела на лежавшую перед ней крошечную фигурку в белых пеленках, и только одна бровь на ее спокойном лице слегка приподнялась и вздрагивала.

Марья Сергеевна мало-помалу так привыкла к мысли о своей беременности, что это даже не огорчало и не мучило ее стыдом и ужасом, как поначалу. Но в эту минуту, под молчаливым взглядом дочери, она снова почувствовала неловкость смущения и даже какой-то безотчетный страх. Ей страстно хотелось, чтобы Наташа заговорила сама, первая, сказала бы ей что-нибудь или хоть улыбнулась бы просто. Но Наташа молчала, и Марья Сергеевна заговорила, наконец, сама робким и неуверенным голосом:

– Мне бы хотелось... чтобы ты... полюбила его, Наташа.

Наташа не отвечала и только вспыхнула еще сильнее. Но в душе она подумала: «Разве я могу насильно заставить себя любить?.. Нет, я не могу и не должна любить его...»

– Он не виноват... – прибавила тихо Марья Сергеевна и с глубокой нежностью взглянула на ребенка.

Теплотой своего живого тельца он согревал ее грудь, и эта теплота, проникавшая в нее от него и приятно разливавшаяся по ее собственному телу, делала его для нее как бы еще ближе, дороже и милее и наполняла всю ее такой растроганной нежностью к нему, жалостью и любовью. И упорное молчание дочери, не хотевшей разделить ее нежность к этому крошечному существу, казавшемуся ей таким слабым, беззащитным, беспомощным, было ей обидно, больно и даже оскорбительно.

Но чем нежнее становился взгляд матери, тем холоднее делались глаза Наташи.

– Ну, довольно, довольно, – сказала Анна Васильевна, подходя к ним, – поцеловались, и будет на первый разочек... Впрочем, может быть, барышне братца поглядеть хочется? – обратилась она вдруг к Наташе и осторожным ловким движением подняла ребенка, взяв его в свои умелые, привычные руки, слегка откинула покрывавший его головку белый платочек и поднесла малютку к самому лицу Наташи.

Ребенок морщился и шурил крошечные слипающиеся глазенки. Анна Васильевна ласково нагнулась над ним и улыбалась ему широким, добродушным ртом.

– Агу, маленький, агу! – приговаривала она, радостно чему-то смеясь. – Ну, вот, видите, какой мы? Совсем кавалер! Здоровяк какой, восторг! Вот увидите, каким мы молодцом вырастем; увидите, мамаша, потом радоваться будете, да Анну Васильевну благодарить. Так ведь?

Марья Сергеевна слабо улыбнулась и, чтобы лучше видеть красную мордочку сына, слегка приподняла с подушки ослабевшую голову.

– Ну, дайте мне его, – сказала она, глядя на Анну Васильевну с каким-то завистливым выражением в глазах, точно ей было жаль, что акушерка, а не она, Марья Сергеевна, держит на руках ребенка.

Анна Васильевна была полная, белокурая женщина, с розовыми здоровыми щеками и веселыми, смеющимися глазами; опытная и умелая в своем мастерстве, она принимала роды всегда с таким довольным и радостным видом, как будто своим появлением на свет ребенок доставлял ей личное удовольствие. И чем ребенок был крепче, больше и здоровее, тем сильнее ощущала она самодовольную гордость.

– Сейчас, сейчас, – говорила она, смеясь и укладывая живой белый сверток на постели Марьи Сергеевны. – Ох, уж эти маменьки! Всех ребят мне всегда перепортят... Баловницы. Вот и Марья Сергеевна, страсть, какая баловница будет, я уж теперь вижу; да вот и барышня налицо, признавайтесь-ка: очень мамаша-то ведь баловала?

Анна Васильевна, сама того не подозревая, дотронулась до самого больного места Наташи.

Наташа исподлобья взглянула на мать, и на мгновение их глаза встретились, но Марья Сергеевна, слегка вспыхнув, быстро скользнула взглядом мимо дочери.

Она чувствовала, что Анна Васильевна говорит правду и что этого ребенка она будет страстно любить и баловать, но за это понимание ей делалось как-то совестно перед Наташей. Как будто она у нее отнимала эту любовь и обделяла ее в пользу нового ребенка.

В передней раздался громкий звонок, и Наташа заметила, что, услышав его, Марья Сергеевна радостно вздрогнула, и счастливое выражение быстро осветило все ее лицо. Они обе изучили этот звонок, и каждый раз, услышав его, невольно вздрагивали: одна от радости, другая от ненависти.

Наташа быстро вышла в гостиную – она не хотела встречаться с Вабельским и думала, что успеет еще пройти, не встречаясь с ним. Но Феня, так же хорошо изучившая его звонок и всегда сама бежавшая поспешно отворять ему дверь, уже снимала с Вабельского в передней шинель и что-то говорила ему тем особенно торопливым и ласковым голосом, который появлялся у нее только при нем.

– Ну и слава богу! Очень, очень рад... – отвечал он, улыбаясь и наскоро расчесывая перед зеркалом мокрую от дождя бороду.

Наташа, как бы боясь нечаянно коснуться его в крошечной передней, остановилась у окна в гостиной, поджидая, пока он пройдет мимо.

Хотя Марья Сергеевна и очень желала в душе, чтобы Виктор Алексеевич был во время родов при ней, но присутствие Наташи стесняло ее, и потому Феня только рано поутру съездила за ним.

– А, барышня! Уже здесь! – проговорил Виктор Алексеевич, увидев в гостиной Наташу.

Обычно, когда они встречались без Марьи Сергеевны, они не подавали друг другу руки и довольствовались только молчаливым поклоном, и в этот раз Виктор Алексеевич хотел уже пройти мимо, но вдруг передумал и подошел к ней, протягивая ей руку и окидывая ее всю насмешливой улыбкой своих светлых голубых глаз.

– У мамаша были? – спросил он с усмешечкой.

Наташа с удивлением смотрела на него, не понимая, зачем он подошел к ней и чего ему от нее нужно.

– Ну, и что же, мальчугана видели?

Наташа вдруг поняла.

«А, ты вот зачем...» – сказала она себе, но ответила совсем спокойно:

– Видела.

И только губы ее побледнели и задрожали от негодования.

Вабельский слегка усмехнулся. Он видел, что Наташа злится, и это смешило и подзадоривало его.

– Ну, и что же... – продолжал он, – нравится?

И, зная, как этот ребенок «нравится» ей и как она бессильно возмущена в эту минуту им, он даже рассмеялся. «Волчонок» положительно забавлял его, и он любил дразнить его.

Но Наташа совсем не желала, чтобы кто-нибудь забавлялся ею, а тем более он, и, хорошо понимая, что он нарочно дразнит ее, она, в душе возмущенная и оскорбленная, старалась оставаться на вид совершенно спокойной, чтобы только не доставить ему удовольствия видеть, что он достиг своей цели и задел ее. Но когда он спросил: «Нравится ли?», рука ее, тяжело

опирающаяся на край стола, вдруг вся вздулась и налилась сине-багровою кровью от той судорожной силы, с которой она еще тяжелее налегла на стол, и она вдруг снова почувствовала в себе тот страстный приступ ненависти, которая уже не раз охватывала ее желанием броситься на Вабельского и задушить его... Она молчала, крепко стиснув зубы и всей силой опираясь на стол, как бы насильно удерживая на нем свои руки. В ее опьяневшем от ненависти мозгу смутно проносились мысли о матери, о ее болезни, о необходимости спокойствия для нее... И она инстинктивно сдерживала себя страшным напряжением воли, бессознательно чувствуя, что если она хоть на мгновение отдастся своему безумному порыву, то в ту же секунду вцепится в его горло с той силой, от которой теперь дрожал под ее затекшими, посиневшими руками тяжелый дубовый стол.

Вабельский, улыбаясь, ждал ее ответа. Его интересовало, что она ему на это скажет. Но когда он встретил ее потемневший взгляд, ему вдруг стало как-то жутко. И это чувство рассердило его, и ему стало даже как-то совестно и неловко, что он боится вдруг этой «ничтожной девчонки». Нарочно, стараясь пересилить в себе это неприятное ощущение и как бы желая наказать ее за тот страх, который она смела вселить в него, он подыскивал в уме, что бы сказать ей еще злее и обиднее, от чего она бы еще больше разозлилась!..

Но при первом же звуке его голоса Наташа подняла на него свои совершенно потемневшие глаза, и выражение их было так странно, что Виктор Алексеевич вдруг оборвал начатую фразу и отошел от нее.

«Ну, девчонка! – сказал он себе и, засунув руки в карманы, отправился в комнату Марьи Сергеевны, стараясь идти своей обычной, беззаботной, слегка раскачивающейся походкой и заглушить противное ему чувство страха, в котором ему было даже совестно сознаваться себе. – Черт знает что! – со злостью думал он. – Этого еще только недоставало...»

И, недовольный собой и всем окружающим, он с досадой вошел в комнату Марьи Сергеевны.

Увидев его, Марья Сергеевна вдруг вся просияла и радостно рванулась ему навстречу; но боль, про которую она забыла, от этого быстрого движения усилилась еще больше и заставила ее с глухим стоном снова опуститься на подушки. И хотя от страдания у нее мгновенно побледнело и исказилось все лицо, но глаза ее сияли таким счастьем и любовью, что болезненное выражение лица как бы исчезло под их ярким светом и сделалось незаметным. Виктор Алексеевич взглянул на нее, и ему невольно вспомнилось только что испугавшее его лицо Наташи, так похожее и вместе с тем так не похожее на материнское.

«Да, не в маменьку! – подумал он. – Совсем не в маменьку!»

И он склонился над Марьей Сергеевной, целуя ее протянутую к нему навстречу бледную руку.

IX

Марья Сергеевна ни за что не хотела брать кормилицу своему сыну и кормила его сама, хотя врачи и считали, что это может иметь очень вредные последствия. Ей было жаль отдавать своего мальчика чужой женщине и разделять с ней его любовь.

Едва оправаясь от родов, она уже возилась с ним целыми днями. Он спал в ее комнате, в люльке, стоявшей рядом с ее кроватью, и при малейшем его движении она быстро вскакивала, с радостной тревогой прислушиваясь к его дыханию. В те минуты, когда он лежал у ее груди, тихо причмокивая сморщенным ротиком и прижимая ручонкой ее грудь, и она ясно чувствовала, как ее теплое молоко переходит в него, отделяясь от ее собственного существа, ее охватывало чувство глубокого умиления и даже блаженства. Она смотрела на него с улыбкой во влажных глазах, и минутами, когда он улыбался ей, сжимая крепче ее грудь своими крепкими уже деснами, ей, несмотря на сильную боль, делалось вдруг так хорошо и отраднo на душе, что

слезы невольно катились из ее глаз. Она плакала не от горя, но от того страстного умиления, которое в эти минуты наполняло ее... Этот ребенок как бы олицетворял для нее и ее любовь к Вабельскому, и его самого, и лучшие минуты ее счастья с ним. Часто, держа малютку на руках, она припоминала первое время их любви, какую-нибудь мелочь, слово, ласку, которую это красненькое личико вдруг точно подсказывало, напоминая ей. И каждая мысль и воспоминание о любви отца заставляли ее еще нежнее любить сына. Порой она даже не могла решить, кого она любит больше – отца или ребенка. Они оба слились для нее в одно бесконечно дорогое и близкое существо, и один как бы воплощал собой другого. В сыне она любила отца, в отце – сына. Прежде, когда она не видела, бывало, Вабельского дня два-три, она скучала и мучилась ревностью и тоской. Теперь же нередко случалось, что Виктор Алексеевич не приезжал по нескольку дней, а разъединение с Наташей чувствовалось сильнее, чем когда-нибудь, но она не замечала одиночества и не испытывала того мучительного чувства пустоты, раздражения и недовольства, которые до рождения Коли так часто нападали на нее. Не видя его, она как бы довольствовалась тем, что его ребенок был с ней. Ребенок постоянными хлопотами и заботами о нем наполнял весь ее день, и, чувствуя это, она думала, что и сама полна жизни. Если бы не болезни Коли и ее собственные, то ей казалось бы, что теперь она совсем счастлива. Эти частые болезни мучили и утомляли ее. В своей страстной любви к ребенку она преувеличивала все опасности и пугалась малейших пустяков. Простая простуда казалась ей опасной и даже смертельной болезнью. Стоило ребенку почему-нибудь раскричаться посильнее, она уже тревожилась и приписывала каприз нездоровью. Если же он действительно немножко заболел, она забывала все на свете, плакала, мучилась, не спала целыми ночами и нетерпеливо меняла врачей, отыскивая все лучших и лучших.

Летом, когда они переехали на дачу, ребенок стал заметно крепнуть и поправляться. По мере того как он рос, Марья Сергеевна открывала себе в нем целый мир нового счастья. Ее занимало все, каждая мелочь, почти незаметная на посторонний, не материнский взгляд. Она замечала все: и то, что он уже держит головку, что он начал улыбаться, что у него уже режутся зубки и т. д., – и все это доставляло ей радость и счастье. Чутьем матери она понимала каждое его движение, плач, детский лепет вместо слов, неясные и непонятные для других, но не для нее. По тому, как он кричал, она угадывала, чего он хочет: кушать ли, гулять ли. На даче они с Феней и нянькой заняли почти весь второй этаж, предназначив лучшие комнаты для удобства ребенка. В одной она сама спала с ним, в другой рядом спали Феня с няней, в третьей его купали и т. д. Комната Наташи помещалась внизу; она сама предпочла именно эту, потому что она была здесь от всех наиболее отдалена.

Вабельский раза два-три в неделю приезжал к ним. В нынешнем году он сам, отговариваясь множеством дел, на даче не жил. Приезжая, он почти всегда заставал Марью Сергеевну или с ребенком на руках, или при нем, или купающей его, и только снисходительно на это улыбался.

– Опять возня! – говорил он с легким недоумением, удивляясь этой «бабьей» способности и охоте нянчиться вечно с детьми.

Увидев его, Марья Сергеевна торопливо, но все-таки с легким вздохом, передавала маленького Колю Фене или няньке.

Она замечала, что он не любит этой возни, и старалась при нем сдерживаться, боясь рассердить его и вызвать в нем нетерпение. Но хотя она и оправдывала его и даже уверяла себя, что все мужчины вообще не любят грудных детей, в душе ей все же это было немного больно и обидно.

«Даже и Павел Петрович ведь, – припоминала она (в душе она всегда отдавала ему должное в том, что он был редкий семьянин), – не любил нянчиться с Наташей, пока она мала была; это у них появляется уже потом».

Она не желала, чтобы он «нянчился», – конечно, это не мужское дело, – но ей хотелось только вызвать в Викторе Алексеевиче чувство нежности к ребенку. И, замечая инстинктом

матери, что этого в нем нет, она огорчалась. Но и в этом случае, как и с чувством неуверенности в любви Вабельского к ней, она, наперекор инстинкту и разуму, старательно обманывала сама себя, боясь признать, что он совершенно равнодушен к Коле.

Иногда Виктор Алексеевич, будучи в хорошем настроении, ласкал ребенка по ее просьбе и желанию, для того только, чтобы доставить ей удовольствие; но, не чувствуя подобного желания в самом себе, он не умел сделать это нежно и ласково.

Когда Марья Сергеевна только что забеременела, Виктор Алексеевич ожидал рождения ребенка с некоторым любопытством и даже интересом, не зная еще, какое чувство вызовет в нем впоследствии его ребенок. Он очень мало обращал внимания на детей, и если они не отталкивали его, то и не привлекали. Он просто не замечал их, а порой и совершенно забывал об их существовании на земле. Во всяком случае, это существование не касалось его и не играло никакой роли в его жизни. Иногда только при виде у кого-нибудь из знакомых красивого и нарядного ребенка лет пяти-шести, который смешил и забавлял взрослых, ему приходило в голову, что, пожалуй, недурно было бы иметь и для себя где-нибудь подобного бутуза, с которым время от времени можно было бы позабавиться.

Когда же у Марьи Сергеевны родился, наконец, ребенок и Виктор Алексеевич увидел в белых пеленках нечто красное, теплое и тихо шевелящееся, он не только не почувствовал радости и любви, но ощутил, скорее, что-то вроде брезгливости. Он почти через силу принудил себя прикоснуться слегка губами, по желанию Марьи Сергеевны, к бархатистому красному лобуку, и это вынужденное прикосновение было ему почти противно. С тех пор, боясь повторения этих поцелуев и ласк, он, по возможности, старался избегать не только их, но и самого ребенка.

Это, как казалось ему, постоянно кричащее, хнычущее и бессмысленное существо вызывало в нем порой даже раздражение, особенно в те минуты, когда Марья Сергеевна, услышав его писк, бросала все и, забывая все остальное в мире, даже его самого, поспешно бежала к нему. Виктор Алексеевич положительно не мог постичь возможности подобной «дурацкой» любви, но, с другой стороны, он был этим отчасти даже доволен.

Постоянно занятая ребенком, Марья Сергеевна не требовала уже его «вечного торчания» возле себя, и теперь у нее было меньше времени и возможности следить за ним и за его образом жизни. Он чувствовал себя несравненно свободнее и приятнее, чем в период ее беременности, когда она, под влиянием болезненного раздражения, рыдала и закатывала ему сцены и упреки за каждый просроченный им час. В последнее время перед родами он начал даже сильно побаиваться, что рождение ребенка свяжет, пожалуй, еще больше его свободу, тем более что развод грозил совершиться скорее, чем он предполагал. Порой, ввиду этой грозящей ему опасности, он подумывал, что самое лучшее теперь будет для него сейчас же уехать куда-нибудь в провинцию или за границу; но на его руках оставалось еще несколько выгодных процессов и дел и бросить их, передать в руки кому-нибудь другому ему было жаль.

Вследствие этого Виктор Алексеевич был почти всегда не в духе и даже в некотором унынии; он почти не видел возможности освободиться от надетого им на себя «ярма», и это раздражало его. Будь Марья Сергеевна одна, она бы мало смущала его, и он не чувствовал бы себя таким связанным и зависимым, как теперь. Но за ней стоял Павел Петрович, который и составлял главную суть «ярма» для Виктора Алексеевича. Вабельский предчувствовал, что в случае «чего-нибудь» ему придется иметь с ним очень много неприятностей, и одно предположение об этом уже тяготило его. Но сдаться окончательно, приняв его условия, и жениться на Марье Сергеевне Вабельский все же не хотел; он все еще надеялся, обойдя их, вывернуться из своего «дурацкого» положения. Но все это заставляло его действовать гораздо осторожнее и мягче, чем он поступал бы в ином случае, где он просто разорвал бы надоевшую ему связь, не задумываясь о последствиях.

Когда Алабины переехали на дачу, он вздохнул полегче. Сначала он ездил к ним раза по три-четыре в неделю, но потом, мало-помалу, стал наезжать реже, отговариваясь делами, и, видя Марию Сергеевну реже и реже, понемногу начал даже успокаиваться и чувствовать себя свободнее. Даже сам разрыв стал представляться ему гораздо легче и возможнее.

Это произойдет постепенно, незаметно, он постарается к тому времени закончить все дела и уедет куда-нибудь, хоть на время. Ведь не погонится же за ним «муженек», да, наконец, ведь и знать не будут, где он. Не адрес же им оставлять!

Решив для себя этот вопрос, Вабельский вполне успокоился, повеселел и, чувствуя себя на свободе, быстро вернулся к своему прежнему образу жизни, где один кутеж сменялся другим и одна женщина другой.

После своего продолжительного «поста и говенья», как, смеясь, говорил сам Виктор Алексеевич, он с особенным удовольствием возвратился «на лоно природы» – в свой старый мир и к старым знакомым.

И мир, и знакомые встретили с восторгом его «возвращение на путь истинный», как остроумно заметила одна опереточная примадонна; все были ему рады, и особенно она сама, так как он снова начал ухаживать за ней и подносить ей букеты и бриллианты. Его положительно не доставало в их компании, как уверяли разные примадонны и не примадонны. Без него чего-то не хватало, было скучно, к нему все так привыкли, он был «свой» и вдруг исчез. Это даже нечестно, зато теперь они свое наверстают!

И Виктор Алексеевич действительно старался наверстать потерянное время. Ездил по всем Аркадиям, Ливадиям, ухаживал сразу за несколькими женщинами и устраивал, по случаю возвращения в «родную семью», разные торжественные пиршества по всем загородным ресторанам.

Однажды после спектакля, в котором Вабельский преподнес корзину цветов и браслет своей новой страсти, той самой примадонне, которая радовалась за него, что он «возвратился на путь истинный», вся их компания, человек двадцать, отправилась в верхнее помещение ресторана и заняла там почти все комнаты.

Виктор Алексеевич в этот вечер был в особом ударе; он, уже отчасти отвыкший от всего этого, чувствовал себя так, как должен чувствовать себя человек, долгое время пробывший где-то в глуши и вернувшийся, наконец, на родину. После долгой разлуки эта «родина» казалась ему теперь и лучше, и интереснее, и даже ближе, чем прежде. Его опьянял, как новичка, один вид этих кутежей с цыганами, волнами табачного дыма, пролитым шампанским и женщинами, с лиц которых еще не стерлись следы театрального грима и которых он только что видел почти голыми, в розовых, черных и красных трико, распевających пикантные зазорные куплеты. И все эти женщины, даже самые незаметные из них, казались ему после тихой и застенчивой Марии Сергеевны интересными, шикарными и имеющими в себе нечто острое и пикантное, чего никогда, думал он, не найти в этих «порядочных», как их называют, женщинах с их кислосладкой добродетелью и чопорностью. И особенно эта примадонна Гальская. Лет пять назад он слегка ухаживал за ней, и не без приятных воспоминаний. Положим, недолго, недели три; но тогда она нравилась ему гораздо меньше, он не понимал тогда всего ее вкуса. Теперь же, рассматривая ее скуластое смуглое лицо с беспокойными блестящими глазами, с широким вздернутым носом и большим ртом, сверкающим ослепительными зубами, он находил в ней особенную, «дикую» прелесть.

В ней не было не только красоты, но даже миловидности, и весь эффект ее лица заключался в его странности, оригинальной беспорядочной прическе сухих черных волос и в красном кармине губ. А между тем она и занимала его, и притягивала к себе. В ней было что-то кошачье и лживое, и это разжигало и опьяняло его, и он чувствовал себя способным натворить ради этой женщины бездну глупостей и страстно влюбиться в нее, ненадолго, положим, но все же страстно. Она сидела рядом с ним так близко, что ее надушенное крепкими духами яркое

пестрое платье почти закрывало его колени. И, поминутно поворачивая к нему свою живую, подвижную голову с блестящими калмыцкими глазами, она наклонялась совсем близко к его лицу, обдавая его всего горячим дыханием своего чувственного рта. Пунцовые цветы вздрагивали и трепетали на ее волнуемой груди и колыхались за нарумяненным ухом. Она громко хохотала и напевала разные куплеты из своих партий в опереттах, и Виктор Алексеевич чувствовал, что не только этот низкий, гортанный голос, но и сами складки ее пестрого душистого платья волнуют и опьяняют его.

«А там, – думал он, вспоминая Марью Сергеевну, – этого никогда не было, оттого, что в этой – жизнь, страсть, огонь, а у той – только вечные слезы да драмы...»

Х

Марья Сергеевна не только ничего не знала, но даже и не подозревала. Она жила где-то за Третьим Парголовым, нарочно подальше от модных мест и знакомых, и, занятая исключительно своим Колей, почти совсем не ездила в город, кроме двух-трех визитов к доктору, чтобы посоветоваться насчет своего сердца, все больше и больше тревожившего ее. Видя Вабельского веселым и ласковым, она была совершенно спокойна и, веря в его занятость, примирилась даже с его редкими визитами.

Виктор Алексеевич, зная за собой довольно-таки много разных провинностей, но не желая, чтобы и Марья Сергеевна узнала про них, также старался быть с ней ласковее и нежнее, чем прежде, усыпляя этим все ее подозрения. Ему достаточно было сказать ей несколько ласковых слов, и она сейчас же успокаивалась и все прощала ему. В последнее время она все чаще и чаще начинала чувствовать себя очень нехорошо. Ее мучили какие-то странные ощущения в сердце и во всей левой стороне груди, постепенно усиливающиеся. Прежде она приписывала их расстройству нервов вследствие различных неприятностей, но теперь их, в сущности, было гораздо меньше, чем прежде, а болезнь не проходила. Ее расстроенный разными потрясениями организм, раз надломившись, не мог уже полностью поправиться; почти не бывало недели без того, чтобы Марья Сергеевна не была чем-нибудь больна или не испытала бы по крайней мере сердечного приступа. Во время этих приступов биение ее сердца становилось таким неправильным, что она то почти задыхалась от его учащенных перебоев, то думала, что оно совсем замирает и останавливается. Тогда на нее нападал панический ужас. Что-то холодело под левой грудью, вся левая рука цепенела, и ей начинало казаться, что сердце ее сейчас же разорвется, и она умрет... И с необычайною живостью ей мысленно представлялось это разорвавшееся в груди сердце с лопнувшими жилами и запекшеюся кровью. Ее охватывал мучительный страх смерти, и, вся холодея от ужаса, она вскакивала с кровати, судорожно цепляясь за грудь и растирая ее, как бы насильно удерживая бьющееся и замирающее сердце. У ее отца был порок сердца, но умер он от тифа. Зато все симптомы у родной тетки, умершей пять лет назад, она помнила хорошо и, припоминая их теперь, находила полное сходство со своей болезнью. Те же ощущения и боли, на которые жаловалась та, те же приступы... Неужели и у нее порок сердца? И она холодела при одной этой мысли. Теперь, более чем когда-нибудь, она хотела жить. На ее руках был ребенок – что же будет с ним, если она умрет? За Наташу она не боялась: та уже большая, и у нее есть отец. Да Наташа и не пропадет. У нее есть и законное имя, и положение, и состояние. Быть может, с ее смертью она сделается даже счастливее, по крайней мере вернется к отцу, к которому давно уже рвется всей душой. Разве не видно, не чувствуется, что Наташа раскаивается в том, что осталась с ней? И если не уходит теперь, то только из гордости, и еще потому, что ей совестно это сделать. Марья Сергеевна уже не верила больше в любовь дочери и не замечала ее ни в чем. Наташа сама отходит от нее, чуждается, и это уже не из ревности, как в прошлом году, а с холодным пониманием. Теперь они сделались совсем чужими друг для друга. Чужими уже потому, что Наташа ненавидит ее бедного Колю. Чем виноват ребенок? А

между тем Наташа до сих пор не простила ему его рождения, не примирилась с ним ни на одну секунду и ненавидит его чуть ли не больше, чем самого Вабельского.

Чем яснее видела Марья Сергеевна холодность дочери к ребенку, тем сильнее любила его сама. Эта Наташина нелюбовь не только оскорбляла ее, но даже отталкивала ее и от самой Наташи. Она могла еще простить ее ненависть к своему любовнику, сознавая, что та имеет на это право. Но ненависти к ребенку, ни в чем не повинному, не только не умела и не могла прощать, но даже и не хотела заглушать в себе это недоброе чувство к дочери. Часто, подметив холодный взгляд Наташи, направленный на Колю, она раздраженно вспыхивала и, отворачиваясь от нее, еще крепче прижимала к себе сына, нарочно осыпая его нежными страстными ласками, как бы желая и вознаградить этим его за ненависть сестры, и наказать ее. Чем холоднее была Наташа к ребенку, тем холоднее становилась к ней мать; чем меньше Наташа скрывала свою холодность к малютке, тем меньше желала Марья Сергеевна скрывать свою холодность к ней, как бы нарочно мстя и оплачивая дочери ее же оружием.

Всю нежность и страсть, с которой она когда-то любила дочь, перенесла она теперь на сына; сначала невольно и незаметно для самой себя, потом – замечая и мучаясь укорами совести, потом – постепенно привыкнув к этому и раздражаясь все чаще и чаще на Наташу. Марья Сергеевна перестала уже и упрекать себя. Минутами это раздражение против дочери поднималось в ней так сильно, что она почти начинала желать, чтобы та сама ушла к отцу. Тогда Марья Сергеевна даже спрашивала себя с раздраженным удивлением, почему она так боялась и не хотела терять ее сначала, почему так страстно боролась за нее с Павлом Петровичем? Почему знать, быть может, для них всех было бы лучше, если бы Наташа осталась с отцом?

Ей было мучительно и горько понимание того, что у дочери есть и имя, и средства, и отец, а у ее любимого ребенка не было ничего, не было даже законного права родиться и существовать... Она почти завидовала дочери из-за сына, и иногда ей казалось это такой страшной несправедливостью, как если бы Наташа насильно отняла или украла у Коли все его права, завладев ими единолично.

Они холодно встречались за обедом и чаем, как бы избегая встреч в другое время, обменивались равнодушным поцелуем и иногда просиживали весь обед, почти не говоря друг с другом.

Наташа перешла уже во второй класс; ей шел шестнадцатый год, и от той Наташи, какой она была еще полтора года назад, почти не осталось и следа. Задумчивая и молчаливая, часто даже угрюмая, она казалась года на три старше своих лет. В ее лице не было мягкой и нежной красоты, свойственной Марье Сергеевне, и она не обещала сделаться даже хорошенькой. Лучше всего у нее были глаза и густые, не выщипанные, чисто русские волосы, прямые и мягкие, заплетенные в тяжелые длинные косы.

Сходство дочери с мужем почему-то было теперь неприятно Марье Сергеевне. Она не могла объяснить себе, почему ей хотелось бы, чтобы дочь меньше напоминала отца. Одни глаза она всецело взяла от матери: большие, продолговатой формы, задумчивые и глубокие, прекрасного темно-синего цвета, искрившиеся мягким лучистым блеском сквозь длинные, слегка загнутые ресницы, они, казалось, всегда были сосредоточены и жили какой-то глубокой внутренней жизнью. Но и в них проглядывало отцовское серьезное спокойствие. И вот это-то спокойствие, горделивое и холодное, часто даже как будто слегка презрительное, больше всего остального смущало и раздражало Марью Сергеевну. Она не выносила этого взгляда, и порой, невольно чувствуя себя виноватой перед дочерью, Марья Сергеевна волновалась и, стараясь оправдаться перед самой собой, начинала обвинять дочь в том, что она нарочно вызывает ее раздражение этим своим молча карающим взглядом. Иногда она жаловалась даже Фене.

Наташа нарочно старается мучить и волновать ее. Она знает, что это вредно не только для нее, Марьи Сергеевны, но и для маленького Коли, которому с молоком она передает и свое раздражение. Да, можно ли было прежде думать, что она станет такой сухой и черствой нату-

рой! Маленькая, она была такая ласковая, привязчивая... Как можно ошибиться в человеке! Чего же ждать от посторонних, если из собственных детей вырастают чуть ли не враги?

Феня вполне соглашалась и, укоризненно качая головой, начинала пересказывать разные мелочи в поведении барышни, о которых барыня еще не знала. Осторожно подпирая дверь, чтобы никто не подслушал, она шептала барыне:

– Что уж и говорить! Все ведь видят! Например, еще вчера барышня захлопнули дверь прямо перед моим носом, когда я хотела войти туда вместе с Коленькой, который плакал и хотел именно в ту комнату. Разве барышня не могли позволить нам постоять там немного! Комнаты ведь от этого, кажется, не убудет! Ох, уж лучше и не говорить, не хочется барыню понапрасну беспокоить, а так разве мало есть чего сказать? Да вот хоть бы в среду! Взяли и выбросили совсем чистые чулки только потому, что они немножечко порвались. Ведь они знают, что люди все заняты, тогда Коленька больны были животиком. И я, и нянька были возле него все дни напролет – да вы сами знаете, даже ночей не спали, кухарка занята – стряпает, посуду моет, в аптеку бегают. Так разве нельзя самим было зашить дырочки? Ведь не бросить же больного ребенка из-за чулок. А они еще даже крикнули: «Дайте другую пару, эта рваная!» Я и говорю, что все чулки в стирке, другой пары нет. А они вдруг посмотрели этак с презрением, как всегда смотрят, когда рассердятся, усмехнулись, да и говорят: «Если чулок мало, значит, еще купить нужно». Как это вам покажется? Ведь это уже прямо, значит, и сказали, папаша, дескать, деньги за меня платят, а мне чулок купить не могут! Кто же не поймет! Ах, барыня, милая, да всего и не перескажешь! Вот письма также каждый-то день, каждый-то день все пишут и пишут, и о чем только, думаешь! Верно, жалуются все. И все сами, потихоньку от нас, их на почту относят. Нам никогда не доверяют, боятся, видно, что вам передадим.

Марья Сергеевна угрюмо слушала.

Наташа прекрасно все это видела и, оскорбленная тем, что мать не только променяла ее на любовника и нового ребенка, но еще и слушает все сплетни Фени, веря горничной больше, чем ей, дочери, еще сильнее пряталась в себя и еще дальше старалась держаться от всех домашних.

С некоторых пор она чувствовала себя в доме матери как-то неловко, точно лишней, стесняющей всех других своим присутствием. Год назад ей казалось, что ее долг оставаться с матерью, спасая и защищая ее от чего-то. Теперь же это «спасение» казалось ей детской неисполнимой мечтой, о которой бесполезно было даже и думать. Ни о каком возвращении «к прежнему» она уже не мечтала и, не веря в его возможность, не желала этого. Как она казалась Марье Сергеевне новой, чуждой, непонятной и совсем уже не той Наташей, которую когда-то она так страстно любила, так и Марья Сергеевна казалась Наташе такой же новой и непонятной, совсем не той, перед которой она когда-то так благоговела. Постепенно из лучезарного, святого существа мать превратилась в ее глазах в простую смертную, грех и падение которой были ей тем больнее и ужаснее, что ей было тяжело расставаться со своим прекрасным кумиром, терять веру в него и... И даже уважение...

Как ни страшно было Наташе сознаваться в этом даже самой себе, но, вопреки своему желанию, она чувствовала, что это так. Уважение, действительно, исчезало с каждым днем, и, замечая это, она с ужасом обвиняла себя в этом. Прежде она просто ревновала Марью Сергеевну к Вабельскому, как ревновала бы к каждому, с кем мать хоть немного разделила бы свою любовь к ней. Теперь же, с возрастом, она перестала уже ревновать к нему. Она чувствовала его ничтожество и только невольно удивлялась ослеплению матери, так безумно любившей его. И эта любовь матери к нему как бы постепенно вырывала из сердца Наташи ее собственную любовь к ней. После того случая, когда в день рождения Коли она чуть не убила Вабельского, поддразниваемая им, она уже никогда больше не говорила с ним и, завидев еще издали его фигуру, поспешно уходила к себе. После той сцены в гостиной Виктор Алексеевич и сам уже не решался дразнить и трогать Наташу и, иногда случайно встречаясь с ней в одной из комнат,

обменивался с ней холодным, едва заметным кивком и довольствовался одним молчаливым саркастическим взглядом.

Порой, чувствуя себя лишней, одинокой и оскорбленной всеми этими мелочами, Наташа и сама не понимала, что удерживает ее от того, чтобы вернуться к отцу. А между тем что-то, действительно, удерживало. Не то какая-то совесть, не то жалость к матери. Другое дело, когда Марья Сергеевна выйдет, наконец, замуж за Вабельского! Тогда она сможет уже с полным правом уйти от нее и возвратиться к отцу. Иногда ей даже хотелось, чтобы Марья Сергеевна сама пожелала удалить ее, так как сделать это самой у нее не хватало духу, несмотря на понимание, что теперь уже это не причинит горя Марье Сергеевне. Мало того, что она уйдет, не сделав ничего из того, о чем мечтала, но этим она как бы добровольно покажет всем, что любовник переселил в ее матери все – даже ее родную дочь. Быть может, это даже даст потом повод для разговоров о том, что Вабельский сам принудил Марью Сергеевну удалить от себя дочь, точно выгнав ее от родной матери. И Наташа гневно вспыхивала и решалась лучше переносить все, чем дать своим уходом право чужим людям так говорить о своей матери. Пускай лучше думают, что они все так же дружны, все так же любят друг друга, как и прежде, при отце. И в тех редких случаях, когда Наташе случалось гулять вместе с матерью, она гордо шла с ней под руку, высоко неся свою голову и как бы желая доказать всему миру, что она не только не стыдится своей матери, но и уважает ее так же, как и прежде. Она с ужасом и стыдом думала, что если кто-нибудь догадается о том, что она, родная дочь, перестала уже чувствовать это уважение к своей матери, то как же начнут относиться к ней посторонние? И она не только не признавалась отцу, как тяжело живется ей, но старалась даже дать ему понять, что ей хорошо и что она все так же надеется и мечтает о лучшем будущем. К чему причинять и ему новое, лишнее страдание! Помочь все равно ничему нельзя.

Феня лгала, говоря, что Наташа пишет Павлу Петровичу чуть ли не каждый день. Напротив, она писала редко. Оба они чувствовали, что не могут писать друг другу вполне открыто, как им бы того хотелось, что о многом они должны умалчивать и даже лгать, утешая и успокаивая один другого. Поэтому письма их были не только короткими, но и слегка натянутыми. Они как бы боялись нечаянно проговориться друг другу о страшном горе, тяжелым бременем лежавшем на их душах и так отравлявшем жизнь.

Но если сам Вабельский уже не вызывал иного чувства у Наташи, кроме презрения и гадливости, то маленький Коля нередко пробуждал в ней порывы уснувшей было ревности к матери. Она старалась заглушать их в себе не потому, что не считала себя на это вправе, но из инстинктивной потребности в том спокойствии, которое одно оставалось ей после потери всего, что она называла своим счастьем, и которое было ей необходимо, как она думала, для того, чтобы заниматься и блестяще закончить курс. Точно для того, чтобы забыться и отвлечься хоть немного, Наташа теперь с особенным усердием накинулась на свои занятия и книги, проводя за ними почти все время. И все-таки порой, несмотря на всю свою твердую решимость быть благоразумной в отношениях с родными, Наташа не всегда могла выдержать. Особенно часто это случалось с ней в те минуты, когда она наблюдала, как ее мать кормит ребенка грудью.

Марья Сергеевна нежно склоняла над ним свое счастливое лицо и, крепко прижимая его к себе, осыпала его горячими ласками и поцелуями. Наташа сумрачно смотрела на них, смотрела на это вдруг совершенно изменившееся лицо, на эту полную белую грудь с тонкими голубыми жилками, к которой деспотично, как бы сознавая свое полное неотъемлемое право, припадал маленький Коля, и болезненная ревность вновь мучительно поднималась в ней. Она как бы с удивлением и негодованием глядела на мать, не в силах понять, как она, ее мать, может любить это новое, так внезапно для всех них явившееся в их семью и жизнь маленькое существо больше, чем ее, свою Наташу. Что мать любит его больше, она уже не сомневалась. Она прекрасно понимала и то, что, когда Марья Сергеевна увлеклась Вабельским, она только охладела к ней, Наташе, но все-таки не переставала любить ее, тогда как с рождением нового

ребенка дочь вдруг как бы совершенно перестала существовать для нее, и свое страстное чувство Марья Сергеевна перенесла исключительно на сына. Часто, когда мать нянчилась и играла с маленьким, Наташа задумчиво следила за ними, мысленно припоминая то время, когда она сама была еще маленькой девочкой. Ей вдруг вспоминалась какая-нибудь сцена, случай из далекого детства, тогда – незначительный и пустой, но теперь милый и дорогой ей. Особенно живо вспоминалась ей голубая комната Марьи Сергеевны на Николаевской улице, рабочий столик с фарфоровой лампой и мягкий кретоновый диванчик с большими букетами роз и гвоздик, на котором она, бывало, примостившись за спиной матери, слушала ее рассказы о разных тетях и бабушках длинными зимними вечерами. Ей казалось, что это было еще так недавно, она еще почти могла вызвать в себе то, захватывавшее дух, ощущение нетерпения и какой-то жутко тревожной радости, когда, лежа вечером в своей кроватке под белым кисейным пологом, она поджидала прихода матери. Где все это?.. И неужели это никогда больше не вернется? Да, не вернется; теперь все другое, даже лицо матери. Наташа пристально вглядывается в лицо Марьи Сергеевны, разговаривающей с Феней, и ей кажется, что то лицо, которое было у нее «тогда», и это «нынешнее» – два совершенно разных лица, почти не похожих одно на другое. По крайней мере, из ее лица теперь исчезло что-то такое, что Наташа так страстно любила в нем, что делало его в ее глазах таким прекрасным, благородным, светлым, почти святым. Пропала всего одна какая-то черточка, одно выражение, а изменилось все лицо. И той духовной красоты его, светившейся особенно мягко в глазах ее, уже не чувствовалось больше: теперь оно почти всегда чем-нибудь озабочено и раздражено. Правда, это прекрасное выражение временами еще вспыхивает в нем, большей частью тогда, когда она с нежной задумчивостью кормит грудью маленького Колю. Но теперь это выражение уже не трогает Наташу. Напротив, улавливая его иногда на просветлевшем лице матери, она тоскует еще больше, и в подобные минуты ей еще сильнее кажется, что этот ребенок отнял у нее то, на что не имел права... И злое чувство против него вспыхивает в ней еще сильнее, еще больше настраивает ее и против ребенка, и против матери, и даже против самой жизни.

XI

Осенью, когда Алабины опять переехали в город, свобода Вабельского должна была отчасти уменьшиться. Он уже не мог, отговариваясь делами, не показываться по нескольку дней в их квартире. К тому же, как только он «пропадал», сейчас же являлась Феня просить его от имени барыни сегодня же вечером пожаловать к ним или даже и сама барыня. Виктора Алексеевича это положительно возмущало. Один раз отвовав свободу обратно, он вовсе не желал вновь терять ее и позволять Марье Сергеевне по-прежнему вмешиваться в каждый шаг его жизни. Увидев у себя в передней фигуру Фени или услышав в гостиной шаги Марьи Сергеевны, Виктор Алексеевич моментально раздражался и сердился.

Что он, маленький, что ли, чтобы давать отчет о своем поведении? Ему уже надоело это вечное выслеживание! Он просит раз и навсегда не вмешиваться в его дела, не требовать от него никаких отчетов и не бегать за ним по пятам, следя, где он и что он. Это ни на что не похоже, наконец!

Марья Сергеевна бледнела и печально опускала голову. Ей было и больно, и совестно. К чему он так говорит?! Разве она следит? Ей просто хотелось видеть его, он отсутствовал пять дней, она боялась, не заболел ли он! Нельзя ли не бояться? А ему уж это надоело!

Виктор Алексеевич раздраженно ходил по кабинету из угла в угол, стараясь только не смотреть на Марью Сергеевну и не встречаться с нею взглядом. Эти глаза, темные, глубоко запавшие на исхудавшем и поблекшем лице ее, с немой тоскливым упреком следившие за ним, вызывали у него неприятное и неловкое чувство. Он ощущал их взгляд на своей спине, когда шагал в сторону от нее, и на лице, когда шел к ней.

Чего она от него хочет? Не может же он прилепиться к ее юбке и вечно торчать у Коленкиных пеленок! Ведь у него, слава богу, кажется, и другие дела еще есть! Нельзя же бросить все только потому, что ей скучно! Если скучно, пускай займется чем-нибудь, читает, гуляет, возится с детьми, с хозяйством, у нее ведь, кажется, целый дом на руках: могла бы отыскать подходящее занятие и не скучать! Так нет, это все тоже скучно; их нужно забавлять и развлекать. А того не понимают, что с этими развлечениями можно будет дойти и до того, что есть нечего будет. Она ведь, кажется, знает, что он обеспечивает себя только трудом своим и что ему нужно работать, а не баклуши бить.

Виктор Алексеевич говорил громко и с полным, видимо, убеждением в своей правоте и справедливости, но в душе был не совсем спокоен. Как это ни странно было для него самого, как ни удивлялся он сам своей «глупой деликатности», тем не менее невольно и почти бессознательно он чувствовал перед Марьей Сергеевной какую-то неловкость, порой даже некоторый страх и укоры совести.

Но подобное ощущение раздражало его еще больше, чем упреки, письма и приезды самой Марьи Сергеевны. Он даже слегка как будто старался оправдываться перед самим собой.

Ведь он, кажется, не давал ей ни клятв, ни обещаний жениться на ней или вечно жить с ней... И то, он уже почти два года пронянчился с ней. Если это не закончится теперь, то потом будет уже поздно. Лучше прекратить все сразу. Одно несчастье: дела его еще не завершены, уехать нельзя, а пока он будет здесь, в Петербурге, конец почти немислим; она будет и сама ездить, и Феню посылать, если он прекратит свои посещения. К тому же начнутся слезы, сцены, мелодрамы и черт еще знает что такое! Нет, уж лучше дотянуть кое-как, пока он не будет в состоянии уехать совсем куда-нибудь из Петербурга. И подумать только, что из-за такой глупейшей истории приходится вдруг уезжать, бросать и город, и дела, и клиентов, чтобы только как-нибудь выпутаться. Во всяком случае, «ее» нужно обуздать, по крайней мере, ясно показать ей, что никаких прав распоряжаться собой он ей не даст и никаких посягательств на себя и свою свободу не позволит! Вообще отстранить ее «на благородную дистанцию»!

И Виктор Алексеевич продолжал «тянуть всю эту канитель», хотя она страшно ему наскучила. Он не только не находил уже ничего красивого и интересного в Марье Сергеевне, но одна мысль о том, что нужно к ней ехать и сидеть с ней целый вечер, уже нагоняла на него тоску и злость.

Приезжал он к Алабиным почти всегда не в духе и заботился только о том, чтобы насколько возможно сократить свой визит. Сначала это «не в духе» проявлялось у него невольно, само по себе; но потом, заметив, что Марья Сергеевна боится подобного его настроения и не осмеливается в такие моменты «приставать» к нему ни с упреками, ни с ласками, он очень обрадовался своему открытию; и с тех пор, в каком бы настроении он ни находился, но, как только звонил у дверей Алабиных и Феня открывала ему, он сразу же делал сердитое лицо и говорил уже не иначе как раздраженным и недовольным тоном. Весь дом начинал ходить на цыпочках, Виктор Алексеевич молчал и сидел в своем углу, надувшись, а Марья Сергеевна даже приказания отдавала шепотом, как бы боясь повысвить голос и тем еще больше рассердить его.

– Он не в духе, – потихоньку говорила она Фене, выходя в соседнюю комнату и обмениваясь с ней многозначительным взглядом.

В эти часы даже маленькому Коле приходилось плохо. Марья Сергеевна вздрагивала, как только он начинал плакать и кричать, и, поймав суровый взгляд Виктора Алексеевича, бледнела, поспешно вскакивала и, схватив ребенка на руки, уносила его куда-нибудь в дальние комнаты, запрещая няньке не только выходить оттуда с ним, но даже и открывать дверь.

Она хитрила, притворялась веселой, не смела спрашивать его о причине раздражения и всячески старалась только продлить его присутствие.

Когда он уезжал, приходила Феня, и начинались длинные разговоры.

– У него все неприятности в его делах, – говорила Марья Сергеевна сочувствующим, но не совсем уверенным голосом, как бы желая и Виктора Алексеевича оправдать, и объяснить причину его дурного настроения и Фене, и самой себе.

– Конечно! – соглашалась Феня, сочувствовавшая Вабельскому чуть ли не наравне с барыней. – За целый-то день устанут! Мало ли у них дел да хлопот разных!

Они обе точно старались найти успокоение и утешение в словах и выводах друг друга и, казалось, вполне искренне верили в эти дела и неприятности, раздражавшие его, тогда как в глубине души у каждой жило невольное, хотя и смутное понимание совсем иной причины.

Боязнь потерять его была так сильна в Марье Сергеевне, что она забывала гордость и самолюбие, а если они невольно усиливались в ней, то она насильно старалась подавить их. Она молча сносила все резкости Вабельского, его обидные фразы и оскорбительное поведение, стараясь или вовсе не замечать их, или приписывать им другое значение и смысл не только перед ним и Феней, но и перед самой собой, и перед собой даже более, чем перед другими.

Он был с ней груб, нисколько не внимателен, не стеснялся показывать ей, как она надоела и наскучила ему, – и все-таки она страстно и безумно любила его, и теперь даже больше, чем тогда, вначале, когда он старался нравиться ей и был нежен, внимателен и предупредителен. Она привязалась к нему той собачьей преданностью, которая заставляет собаку лизать руку только что побившего ее хозяина. Порой даже сам Виктор Алексеевич поражался этому полному отсутствию в ней обидчивости и самолюбия. В самом худшем случае она начинала только плакать, но и тогда прощала его сразу не только при первом же ласковом слове, но даже когда он, раздраженный ее слезами, начинал сердиться и браниться еще больше. Она быстро утирала глаза и упрашивала его умоляющим голосом:

– Ну, я не буду, милый, не буду, не сердись только...

Часто, глядя на ее расплывшуюся фигуру и поблекшее лицо, он с удивлением спрашивал себя: да неужели же это та самая женщина, которая когда-то так сильно нравилась ему? И что с ней случилось, что она так страшно изменилась и морально, и физически! И невольно припоминал, какой была она два года назад, когда он впервые увидел ее на вечере у знакомых.

Тогда ее красота удивила его. В тот же вечер он начал слегка ухаживать за ней, но ухаживать с той почтительной внимательностью, с какой вообще редко относился к женщинам. Всматриваясь тогда в ее прекрасные, спокойные глаза, ровные движения и горделивую осанку, Виктор Алексеевич сознавал, что ухаживать за этой женщиной с определенными целями и надеждами почти не стоит, так как успех вряд ли возможен.

«Слишком уж спокойна и горда и своей безупречностью, и своим положением; и, наверное, слишком развито осознание обязанностей!» – сказал он себе. И только уже спустя несколько месяцев ему пришлось как-то вальсировать с ней; и в то время, когда она, как бы полулежа на его плече, обдавала его своим горячим дыханием, он подметил такие огоньки в этих спокойных синих глазах и такую страстную морщинку в уголках красивого рта, что невольно призадумался на минутку.

«А ведь ухаживать-то, может быть, и стоит! – подумал он, пристально всматриваясь в нее своим опытным взглядом. – И даже не только „может быть“, но и наверняка стоит, только с большим терпением и тактом. Ну что ж, будем пробовать!»

И хотя терпения потребовалось меньше, чем он предполагал, и это удивило и даже как будто разочаровало его слегка, но все же первое время она поддерживала в нем то чувство уважения, которое умела вызывать во всех, кто ее знал, но какое он, Виктор Алексеевич, очень редко чувствовал по отношению к другим своим многочисленным любовницам. А теперь она не только не вызывала уже в нем этого невольного уважения к себе, но, напротив, делаясь ему все противнее и скучнее, падала в его глазах ниже всех своих предшественниц. Почти ни с одной из них он не обращался так резко и грубо, как позволял себе с ней. Порой это даже забавляло его; он как будто специально старался узнать, до чего может прийти ее терпение и

его власть над ней, и невольно удивлялся неистощимости и того, и другого. Но чем терпеливее была она, тем противнее становилась ему. Он мысленно сравнивал ее с Гальской, завладевшей им в последнее время, и как та казалась ему каким-то острым, пикантным блюдом, приятно разжигаящим его аппетит, так Марья Сергеевна вызывала в нем почти отвращение, как опротивевшее кушанье. Иногда он приезжал внезапно и заставал ее не одетой, не причесанной, с желтым лицом, в старом капоте и невольно удивлялся ее, как ему казалось, старческому виду. В тридцать три года ей можно было дать лет двадцать семь – двадцать восемь, в тридцать же пять она выглядела на сорок. Она совершенно перестала заниматься своей внешностью и туалетом и, вся поглощенная возней с Колей, чувствовала себя гораздо лучше и свободнее в старом фланелевом капоте, к которому она так привыкла, что ей даже жаль было расстаться с ним. Постепенно она теряла вкус и почти разучилась одеваться к лицу, изящно и красиво, как умела прежде. Иногда же, когда в ней вдруг снова просыпалось желание быть интересной и красивой только для того, конечно, чтобы нравиться ему, она одевалась во что-нибудь нарядное, светлое, розовое или голубое, что должно было, как ей казалось, делать ее моложе, но что давно уже перестало идти ей. Ему же в этих костюмах она казалась еще старше, непривлекательнее и смешнее. Сама она не замечала, что стареет, опускается и дурнеет, и только иногда, взглянув на себя в зеркало попристальнее, поражалась, увидев, как серебрится на виске прядь ее черных волос и какие глубокие и частые морщины проступают на лбу и в углах рта.

Тогда она удивлялась с горечью и испугом.

Отчего ж это? Неужели... Неужели пора? Ведь ей нет еще и тридцати пяти лет. И с тоскливой тревогой она всматривалась в лица окружающих ее людей, как бы желая узнать, изменились ли и они тоже. Но лица Вабельского и Фени казались точно такими же, как были и два года назад; одна Наташа очень переменялась за это время и казалась уже не девочкой, а девушкой. И Марья Сергеевна старалась успокоить себя, ей так не хотелось еще стариться!

«Глупости, – утешала она себя, – просто я больна, оттого и подурнела немножко, но это пройдет, вот поправлюсь, и пройдет все». Никто не изменился, значит, не изменилась и она. Она тревожно взглядывала на свой большой портрет, снятый около двух лет назад, и прелестное лицо, смотревшее с него, успокаивало и утешало ее.

Ведь не могла же она состариться в полтора года!

Некоторое время спустя она снялась опять, вместе с Колей. Коля получился прекрасно, но ее карточка показалась ей такой неудачной и непохожей, что, если бы не изображение Коли, она не взяла бы ее совсем. Ей ужасно хотелось, чтобы у Виктора Алексеевича был Колин портрет, но эту карточку она все-таки ему не отдала.

Дела у Виктора Алексеевича, наконец, закончились, и он решил уехать не позже, чем недели через две.

На первое время он поедет куда-нибудь за границу, а вернувшись, проживет до осени в Одессе. Его всегда тянуло в этот город, тем более что и Гальская теперь там играла. Она несколько раз писала ему, зовя его к себе, и он сам был вовсе не прочь провести с ней эту зиму. Оставалось только распродать мебель; он было принялся хлопотать об этом, но потом передумал. Во-первых, все это пойдет за бесценок, во-вторых, задержит его порядочно, а главное, Марья Сергеевна ясно поймет тогда, что он, значит, уезжает совсем, и ему не избежать сцен, рыданий и объяснений. Может появиться на сцене даже и сам Павел Петрович. Лучше уверить ее, что он уезжает на время, ненадолго, по делам; сначала можно будет и писать ей для успокоения. Но и дело с мебелью устроилось очень удачно. Ему удалось сдать свою квартиру на год одному богатому приезжему провинциалу не только с мебелью, но и с лошадьми, кучером и лакеем Аристархом.

«По крайней мере, не продаю, – думал Виктор Алексеевич, – когда понадобится, опять все будет. Даже в материальном плане довольно выгодно». Сам он за квартиру платит двести рублей в месяц, а получать будет шестьсот. Оставалось только уехать более или менее спо-

койно, избегнув, по возможности, всяких «трогательных» прощаний. Для этого он решил сказать Марье Сергеевне о своем отъезде лишь накануне. По крайней мере, все эти слезы и расставания будут продолжаться недолго. Накануне отъезда он, действительно, приехал к Алабиным и был с Марьей Сергеевной любезнее обычного. За обедом он вдруг объявил, что вчера вечером получил телеграмму, вызывавшую его немедленно за границу по одному очень спешному и важному делу, и потому ему завтра же придется выехать туда недели на три, а может, и на месяц.

Марья Сергеевна побледнела и от испуга уронила вилку.

– На месяц! – тихо повторила она за ним, и ей вдруг сделалось и страшно, и больно при одной мысли, что она не увидит его целый месяц. – Тридцать дней! Ужасно!

– Да, на месяц, – повторил он, спокойно разрезая кусок говядины и стараясь не смотреть на Марью Сергеевну. – Самое большее, на полтора... Дело... Я как-то говорил, кажется, если только вы помните, вы такая рассеянная... Дело Генеманов о наследстве с их германскими родственниками.

Но Марья Сергеевна ничего подобного не помнила, и если бы даже он действительно говорил ей об этом что-нибудь, то в эту минуту, под влиянием страха разлуки, она все равно бы забыла. Она резко замолчала и, сдерживая изо всех сил подступившие слезы, машинально и торопливо доедала свой суп.

«Кажется, все пройдет спокойнее, чем я предполагал», – с удовольствием подумал Виктор Алексеевич и слегка приподнял голову, чтобы лучше понять, какое впечатление произвели его слова на Марью Сергеевну. Но ее лицо было низко склонено над тарелкой, и только по красным пятнам, заплывшим на ее щеках и шее, видно было, как она разволновалась.

Виктор Алексеевич хотел уже опять отвернуться, но почему-то, совершенно машинально, взглянул в сторону Наташи.

Наташа глядела прямо на него, в упор, не сводя с него пытливого взгляда. Виктор Алексеевич слегка покраснел и быстро отвернулся от нее. Но в течение всего обеда он чувствовал на себе этот молча испытующий взгляд ее строгих глаз.

Марья Сергеевна торопилась закончить обед, боясь каждую минуту, что не выдержит и расплачется, и крепилась только из-за дочери, но, как только они встали из-за стола и Наташа ушла к себе, она быстро подошла к Виктору Алексеевичу и, положив руки ему на плечи, взглянула прямо в его глаза.

– Правда ли это, Виктор? – тихо спросила она, всматриваясь в его лицо.

Она как будто все еще не верила этому, словно считала, что это он только шутил так.

Виктор Алексеевич слегка передернул плечами:

– Конечно правда! С чего же мне лгать?

Марья Сергеевна, не убирая своих рук, положила на них голову и заплакала.

Виктор Алексеевич нетерпеливым движением скинул ее руки со своих плеч и отошел к окну.

– Начинается! – раздраженно воскликнул он. – Так и знал: без мелодрам никогда нельзя обойтись! Сейчас же слезы, сцены, упреки, недостает только обмороков. Подумаешь, в Китай собрался. Уезжает человек на один месяц, а историй на десять лет! Удивительно...

Марья Сергеевна оправдывалась робким, неуверенным голосом. Какие же истории? Разве она что-нибудь говорит? Конечно, пускай едет, если это нужно... Но... Это только немного тяжело ей... Она так привыкла к нему...

Что же, из-за этой привычки ему по миру идти, что ли? Только чтобы она не отвыкала и не плакала? Ведь это из ряда вон, наконец! Что же ему, дела, что ли, все бросить? Пускай все гибнет, и дела, и карьера, и репутация, и средства, и сам он, потому что не она же ведь, конечно, будет думать и заботиться о том, на что ему жить и кушать!

Виктор Алексеевич раздраженно кричал и сердился, не давая ей вставить ни одного слова, чувствуя, что так ему легче будет выиграть сражение и справиться с ней. Она испугается и скорее уступит ему, постаравшись обойтись без лишних вопросов, упреков и слез.

И Марья Сергеевна действительно оправдывалась, стараясь успокоить его и уверить, что она ничего не хочет и не требует, и никогда не позволит себе мешать ему в его делах. Пусть едет, куда нужно, она будет совсем спокойно ждать его, только бы он писал ей, и больше ничего она не просит.

Она всеми силами сдерживала слезы и старалась говорить спокойнее и веселее, чтобы только не раздражать его и получше провести последний вечер. Виктор Алексеевич, убедившись, что все обошлось благополучно, смягчился и стал даже довольно любезен. Он обнял ее за талию и, прохаживаясь с ней по комнате, рассказывал о своих планах касательно отъезда и устройства дел за границей.

Марья Сергеевна, обрадованная его переменившимся к лучшему настроением, с любовью, не спуская с него глаз, слушала его.

В его квартире, говорил Виктор Алексеевич, пока будет жить один его родственник. Он только на днях приехал из провинции и остановился у него. Ей лучше не бывать там пока; еще, пожалуй, столкнется с ним, потом черт знает что будет рассказывать о ней везде. У него прегадкий язычок, а она, кажется, знает, как ему, Виктору Алексеевичу, бывает всегда неприятно и тяжело, если кто-нибудь двусмысленно отзывается о ней. Писать он будет прямо сюда, к ней. «И, пожалуйста, – прибавил он с легкой тенью неудовольствия, – не сходи с ума по пустякам и не тревожь себя даром. В случае если писем не будет немного дольше, пожалуйста, не беспокойся, значит, что-нибудь мешает, дела какие-нибудь задерживают, разъезды... Ну, мало ли что... Во всяком случае, не придумывай только ничего ужасного, все устроится и кончится прекрасно, я вернусь к тебе и к маленькому Коле, никто не отнимет», – заключил он с улыбкой, целуя ее в голову.

Она глядела на него глазами, полными слез, всеми силами подавляя в себе рыдание, но, несмотря на это, лицо ее улыбалось и сияло счастьем и любовью. Хотя она знала, что он завтра же уезжает и что она долго не увидит его, но в эту минуту она была почти счастлива. Он так редко баловал ее своими ласками, что малейшая из них радовала ее. Весь вечер он был с ней нежен и внимателен, а перед отъездом зашел даже вместе с ней в комнату Коли и поцеловал его на прощание в маленький лобик.

Она смотрела на них обоих, счастливая и растроганная, и на минуту неприятное чувство смущения и стыда охватило Виктора Алексеевича. Ему вдруг сделалось как будто жаль ее, и на мгновение мелькнула даже мысль: не остаться ли? И почему, зачем бросает он эту женщину, которая ничего не требует от него, ничему не мешает и только бесконечно любит его? Но Виктор Алексеевич сразу же постарался отогнать все эти сентиментальные мысли и не дал воли своим расходившимся нервам.

«Иначе это затянется на всю жизнь!» – сказал он себе, и это ужасное «на всю жизнь» пугало его, придавая решимости.

Он уговорил ее не ездить завтра провожать его на вокзал: там будет один из клиентов по этому делу, им нужно еще кое о чем переговорить; но зато обещал заехать еще раз, проститься, если успеет.

Наконец он вышел в переднюю и накинул шинель. Марья Сергеевна еще раз горячо прижалась к нему и, приподняв свое облитое слезами лицо, несколько раз перекрестила его, шепча бледными, вздрагивающими от сдерживаемых рыданий губами тихую молитву.

Виктор Алексеевич терпеливо стоял, не надевая шапки и слегка только наклоняя голову под ее крестами, а когда она закончила, он еще раз обнял ее и с большим чувством, чем ожидал сам, поцеловал ее. Она уже не сдерживалась и, растроганная еще больше его лаской, плакала, нервно всхлипывая и вздрагивая плечами, и ловила его руки, страстно прижимаясь к ним

лицом и губами. Но хотя Виктор Алексеевич и дал себе слово не допускать никаких «трогательных сцен», в эту последнюю минуту у него не достало духу остановить ее, и, только молча улыбаясь ей какой-то жалкой и растерянной улыбкой, он торопливо и смущенно вышел на освещенную площадку лестницы.

Марья Сергеевна, вместе с выбежавшей в переднюю Феней, вышла за ним туда же и, облокотясь на перила, молча глядела ему вслед.

– До завтра... – вполголоса сказала она.

Виктор Алексеевич поднял голову и улыбнулся ей в ответ все той же торопливой и смущенной улыбкой.

– Да, да, до завтра...

Когда дверь захлопнулась за ним и они вернулись в гостиную, Марья Сергеевна опустилась на первый попавшийся стул и расплакалась, уже не сдерживая и не заглушая своих рыданий.

– Господи... Феня... – говорила она между всхлипываниями, нервно ломая свои тонкие пальцы, – ведь на полтора месяца... Может быть, даже больше... Я как подумаю... Такая тоска, такая тоска...

Феня молча стояла перед ней.

– Да уж, чего веселого! – сказала она с каким-то раздражением.

Ее лицо тоже слегка подергивалось и вздрагивало, и ей, при мысли, что Виктора Алексеевича не будет у них целых полтора месяца, тоже как будто хотелось плакать.

ХII

Когда Виктор Алексеевич вышел на улицу, шел легкий, крутящийся в воздухе снежок, и лицо его опухло свежим морозным воздухом.

– Подавать, барин? – крикнул стоявший у подъезда извозчик.

– Не надо! – сердито отвечал Виктор Алексеевич.

Ему хотелось пройтись немного пешком, чтобы скорее успокоиться. На душе его было определенно нехорошо – как будто лежало неприятное ощущение какой-то гадости, которую он только что сотворил.

«Во всяком случае, – думал он, плотнее запахивая шинель, – это тяжело, и даже тяжелее, чем кажется... Нет, конечно, больше уж никогда и ни одной серьезной связи в жизни. Право, гадко как-то...»

Он остановился на минутку и, чиркнув спичкой, попытался закурить папиросу, прикрываясь шинелью от задувавшего ее ветра, но вдруг почувствовал, что кто-то коснулся его. Виктор Алексеевич обернулся и с недоумением оглядел какую-то небольшую женскую фигурку в шубке и в белом платке на голове.

– Пойдемте сюда... За угол... Пойдемте!

Она говорила нервным, сдавленным голосом и слегка тянула его за рукав шинели. Виктор Алексеевич плохо различал ее черты и почти не узнавал голоса, но по неприятному и жуткому ощущению, вдруг охватившему его, он, скорее инстинктивно, догадался, чем узнал, кто это.

– Куда пойдемте? – заговорил он не то испуганным, не то сердитым голосом. – Вы, должно быть, с ума сошли, если вздумали вдруг по улицам ловить меня! Никуда я не пойду, и что такое вам вдруг понадобилось от меня, что вы мне в комнате не могли сказать, а изволите выбирать такое удобное место для разговоров?.. Отправляйтесь лучше домой. Никуда я не пойду.

– Нет, вы пойдете! Я не мама, слышите, не мама... Со мной нельзя так, как с ней, и если я вас зову, то вы пойдете, слышите? Должны идти... – шептала она задышающимся и дрожащим от страстной ненависти голосом.

Виктор Алексеевич с удивлением смотрел на нее.

«Черт знает что такое, этого только недоставало! – думал он. – И чего эта девчонка еще тут суется? – Он подозрительно оглядывал ее. – Уж не героиню ли она вздумала разыгрывать, еще, чего доброго, стрелять вздумает! Они все ведь нынче на этом помешаны!»

– Да нельзя ли тут объяснить мне, чего вы, собственно, от меня желаете, а не бегать по разным закоулкам?..

– Нет, нельзя, тут народ, пойдемте в переулок, там никого нет...

Они стояли друг против друга у фонаря, свет от которого падал теперь прямо на лицо Наташи, и Виктор Алексеевич видел, как лихорадочно горели и переливались ее глаза какими-то дикими, злыми огоньками.

«Черт знает что такое! – мысленно бранился он, – и как все это глупо!» Он положительно не знал, что ему делать, но на душе у него было как-то жутко и неприятно, а сознаться себе, что он боится ее, он не хотел – боится этой девчонки, ничтожной и бессильной, которую он в случае чего может пристукнуть одним пальцем!

«Да, наконец, в квартире Алабиных нет ни одного револьвера, а купить не могла, ей не продадут...»

Наташа вдруг окинула его презрительным взглядом:

– Да вы не бойтесь! – проговорила она с такой насмешкой и отвращением, что Виктор Алексеевич даже вспыхнул. – Мне с вами только переговорить нужно.

– Это вас-то бояться?! – захохотал он злым принужденным смехом. – Помилуйте, кто же это детей боится? Извольте, я с вами пойду, только нельзя ли поскорее закончить всю эту комедию – «Мамашенькина страсть» – промелькнуло у него в голове, – у меня времени нет, да и о вас мамаша будет беспокоиться.

– Мамашу оставьте, она не знает и не хватится. Мне негде больше было говорить с вами так, чтобы она об этом не узнала, потому я и выбрала улицу. Пойдемте...

Они двинулись в направлении первого же переулка и несколько минут шли молча, не глядя друг на друга.

Наконец, когда они дошли до середины совершенно пустого и темного переулка, Наташа остановилась и взглянула ему прямо в лицо.

– Это правда, что вам нужно ехать? – повторила она вопрос матери.

Они обе догадывались, что он лжет, но Наташа понимала это ясно, тогда как Марья Сергеевна ощущала бессознательно, скорее сердцем, чем разумом.

– А вам какое же до этого дело? Это что, следствие, что ли?

– Нет, это не следствие, и мне нет до вас никакого дела. Это правда... Но «ей», понимаете, «ей», – она наклонилась совсем близко к нему, и все ее лицо задрожало от негодования, – ей есть дело! И потому-то я и спрашиваю, потому-то и хочу знать правду... И вы мне ее скажете! Понимаете? У нее никого нет, кроме меня, вы всех отогнали, а теперь делаете с ней что хотите, благо, она верит вам и любит вас! Но я ненавижу вас, не верю ничему, ничему, что вы ей говорите; я знала, всегда знала, что вы лжете, все лжете... И теперь так же... Но я не позволю, понимаете, не позволю...

Она задышалась от волнения и гнева. Два года таила и сдерживала она их в себе, щадя его ради матери, но теперь все чувство ненависти и озлобления, накопившееся в душе ее против него, вдруг как бы прорвалось наружу и захватило ее в бешеном порыве. Она вся дрожала, лицо ее нервно горело, и глаза сверкали такой злобой, что Виктор Алексеевич бессознательно отодвинулся от нее подальше.

«Положительно, с ума сошла!» – тревожно мелькнуло в его голове, но, стараясь оправиться от жуткого чувства, он грубо оборвал ее:

– Ну, довольно! Однако вы, должно быть, совсем рехнулись! Можете отправляться домой и садиться за уроки, а я вам не мальчишка, и всякой девчонке читать себе нотации не позволю...

И он круто повернулся и хотел уже уйти, но Наташа опередила его и, быстро схватив его за руку, вцепилась в нее с судорожной силой.

– Нет, не довольно! – громко вскрикнула она. – Не довольно, и вы не уйдете, я не пушу! Вы делаете низости, а потом убегаете, и думаете, что никто ничего не смеет сказать вам... Ничего сделать с вами?..

Ее рука, с тонкими длинными ногтями, до боли впиалась в его руку. Он попробовал отдернуть ее, но она еще крепче сжалась, не отпуская его.

– Пустите мою руку!

– Нет, не пушу. Вы скажете мне правду, вы ее совсем бросаете, да?

– Да послушайте, вам-то, наконец, какое же дело до этого?! Вы-то тут при чем?!

– При том, что она моя мать! Понимаете, мать моя, жена моего отца! Вы отняли ее и у него, и у меня, и мне есть до этого дело. Я имею право требовать у вас отчета. И вы не смеете не дать мне его, не смеете...

– Да ведь она вам маменька, а не вы ей, кажется. Что же вы-то хлопчете? Она и сама, кажется, не маленькая.

– О! Какой... – Наташа с отвращением прищурилась. – Какой вы подлец!

Вабельский вздрогнул и вырвал, наконец, свою руку. Ему хотелось поколотить эту девчонку, так смело кинувшую ему в лицо оскорбление. Но она стояла перед ним с выражением такого презрения и морального превосходства, такая смелая в своей правде и ненависти, что он только плотнее запахнулся опять в шинель, закрыв ею даже лицо.

Наташа, по-видимому, начала немного успокаиваться. Она уже не так дрожала и задыхалась, и только ноздри ее слегка еще вздрагивали и трепетали.

– Это подлость, ужасная подлость, – заговорила она вдруг тихо, – что вы бросаете ее, но это все-таки было бы счастьем для всех нас, если бы она только смогла перенести это. Но она не перенесет, это убьет ее, я знаю, и потому-то я решила прийти сюда и поговорить с вами. Ведь вы тоже понимаете, что убиваете ее этим... И вам даже не жаль? Даже не совестно?.. Неужели вам не совестно, неужели можно делать такие вещи и не чувствовать себя подлецом?

Она точно не верила в подобную возможность и пылливо глядела ему в глаза, как бы ища в них искры стыда и раскаяния.

– Вам не совестно? – тихо, с каким-то сожалением спросила она его опять, не спуская с него своих грустных строгих глаз.

Виктор Алексеевич молча, нетерпеливо передернул плечами и, скользнув взглядом мимо ее лица, еще глубже спрятал лицо в воротник шинели. Он положительно терялся, не знал, что ему делать, и если в его жизни были какие-нибудь скверные минуты, то хуже и неприятнее этой он все-таки не помнил.

– Если бы вы знали, как я вас ненавижу и как вы мне гадки, – говорила она, слегка вздрагивая от гадливого презрения, – вы бы поняли, как трудно было мне прийти сюда и говорить с вами... Просить, – на мгновение она даже закрыла лицо руками, но тотчас же быстро отдернула их и заговорила уже тверже и спокойнее. – Но это необходимо, и я решилась. Если бы я была уверена, что это может вернуть нам всем прежнее счастье, я убила бы вас!

Виктор Алексеевич быстро поднял голову и тревожно оглядел снова ее руки и фигуру.

«Ты, матушка, действительно на все, кажется, способна!» – сердито подумал он и, слегка отодвинувшись от нее, тревожно огляделся по сторонам, ища, нет ли где извозчика.

– Но это ничему не поможет, – с какой-то странной задумчивостью в глазах продолжала она, – это было бы только новым горем и для нее, и для отца... Я долго думала, как помочь, но помочь никак нельзя... Теперь уже поздно... Ни папа, ни я счастливы уже не будем, что бы

ни случилось, но пусть хоть одна она... И потому я... решила просить вас... если возможно... Не уезжайте... не бросайте... Ах, как гадко... Как гадко! – вдруг страстно прервала она сама себя и снова закрыла руками еще жарче запылавшее лицо.

В конце переулочка медленно ехал пустой извозчик. Виктор Алексеевич искоса, стараясь делать это незаметно для Наташи, оглядывался на него.

– Я, право, не понимаю, – заговорил он вслух, слегка приободряясь при приближении извозчика, – о чем вы так беспокоитесь... Ничего и никого я не бросаю, еду всего на один месяц по делам, ведь я говорил уже при вас...

– Да, говорили, только это неправда! Я знаю... Я уже давно поняла, что так все кончится... Я знаю, вы уедете, не станете даже писать... И тогда она поймет и не вынесет этого... Но... Хоть пишите ей... Хоть изредка... Она поверит и будет спокойна... Если у вас есть хоть капля жалости, сострадания, сделайте это... Сделайте... Разве не тяжело убить человека?... Знать, что убили?... Хоть ради вашей матери; быть может, вы любили ее... Хоть ради нее... Сделайте, пожалуйста... Но неужели же вы никогда никого не любили... не жалели...

– Да, конечно... Конечно... Об этом нечего и просить... Конечно... – торопливо говорил Виктор Алексеевич и, обернувшись, крикнул вдруг поравнявшемуся с ним извозчику, быстро откинул полость, вскочил в сани и, приподняв свою пушистую бобровую шапку, слегка поклонился Наташе.

– Пошел! – крикнул он. – Да быстрее!.. И почему только я сразу не сел! – сердито сказал он себе. – Ничего бы тогда не случилось. Фу, черт! Ну, сценка, нечего сказать! Пошел, что ли, дурак, скорее! Плетешься, плетешься, болван!

И, с сердцем толкнув извозчика в спину, Виктор Алексеевич беспокойно оглянулся назад, как бы боясь, что Наташа бежит за ним. Но ее темный силуэт виднелся уже далеко от него.

Она с изумлением и негодованием смотрела ему вслед, и, когда он совсем скрылся из виду, она вдруг схватилась руками за голову и крепко сжала ее. Ей было мучительно стыдно, больно, и она все сильнее и сильнее стискивала зубы, как бы заглушая какую-то острую боль.

«Ах, как гадко, как гадко!»

Слезы крупными каплями катились из ее глаз, но она не замечала и не чувствовала их. Одно ощущение сильного стыда и унижения наполняло ее.

О, лучше бы уж совсем не ходить! Чему она помогла, что сделала? Разве она не знала, какой это подлец! Да, да, он прав: она глупая, ничтожная девчонка, которая не понимает сама, что делает. Зачем, зачем она унижалась, просила, чуть ли не умоляла его, чтобы он же издевался над ней? Боже мой, Боже мой, зачем же, зачем?... А Бог... Неужели и Он не покарает его? О, мама, мама, что ты сделала, что сделала – и с собой, бедная моя, и с нами!..

И она, рыдая, прислонилась к фонарному столбу.

ХІІІ

Шел четвертый месяц с тех пор, как уехал Виктор Алексеевич. Марья Сергеевна начала уже не на шутку волноваться и беспокоиться. Она получила от него несколько коротких писем, но они были и слишком редки, и слишком лаконичны для того, чтобы всерьез успокаивать ее. По ним она едва могла понять, где он, здоров ли и что делает. Но больше всего мучило ее то, что она сама не могла писать ему, как бы ей того ни хотелось. Виктор Алексеевич, судя по письмам, постоянно переезжает из города в город, и, не зная наверняка его адрес и местопребывание, Марья Сергеевна посылала свои письма по догадкам, наудачу, не будучи даже вполне уверена, дойдут ли они до него. По сложившейся уже у нее привычке прощать ему все она и теперь не решалась упрекать его за то, что письма его были так редки, зная по опыту, что всякие упреки только сильнее раздражают его. И даже в душе она не сердилась, стараясь, по

своему обыкновению, оправдывать его и перед другими, и перед самой собой, уверяя, что он страшно занят делами, разъездами, а потому писать ему некогда. Но, хотя письма от него приходили очень редко, ждала она их каждый день. При каждом звонке она вздрагивала и чутко прислушивалась к голосам в передней, думая: «Не письмо ли!» И в тех редких случаях, когда Феня действительно входила с письмом, Марья Сергеевна быстро вскакивала с кресла, бросала все, что у нее было в руках, и, бледная, задыхающаяся от волнения, дрожащими руками выхватывала у Фени письмо. Но в первую минуту она не могла разобрать ни слова. Буквы прыгали и сливались у нее перед глазами, сердце в груди рвалось и замирало, и иногда, прежде чем прочесть, она должна была даже выпить стакан воды, чтобы хоть немного успокоиться. Зато успокоясь, она всегда перечитывала письмо по нескольку раз кряду, пока не заучивала его наизусть. Тогда она звала Феню и, вся сияющая от восторга и радости, прочитывала и ей письмо вслух, снова повторяя по нескольку раз те его фразы и слова, которые более других нравились ей и трогали ее, как бы для того, чтобы и Феня поняла и прочувствовала их лучше и глубже. Таких фраз, в сущности, было немного, но Марья Сергеевна умудрялась отыскивать их между строк и прочитывала его сухое письмо таким нежным голосом, что оно действительно казалось как-то ласковее и любезнее. Весь этот день и несколько следующих Марья Сергеевна была весела, счастлива, добра, и даже болезнь ее вдруг как бы совсем проходила. Зато в последующие две-три недели, когда писем не было, болезнь эта делалась еще заметнее и мучительнее, чем в любое другое время. Марья Сергеевна жила в постоянном напряжении ожидания и тоски, и это окончательно подрывало ее и без того уже расшатавшееся здоровье. Доктора запретили ей даже продолжать кормить маленького Колю, на которого ее молоко, из-за ее волнения, действовало очень плохо. Для Марьи Сергеевны это было новое лишение и мука. Кормить Колю своей грудью было ей каким-то блаженным наслаждением и отказаться от него ей было тяжело и трудно. Для ребенка было бы полезнее взять здоровую деревенскую кормилицу, но Марья Сергеевна, в своей страстной ревнивой любви к нему, не хотела об этом и слышать. И Колю перевели на рожок, тем более что ему шел уже девятый месяц, и его уже можно было понемногу отлучать от груди. Но ребенок сначала страшно тосковал по материнской груди, плакал, капризничал и в первое время даже болел. Марья Сергеевна мучилась и волновалась вместе с ним, но, боясь потерять его, выдерживала характер и не давала ему груди. Все последнее время она чувствовала себя гораздо хуже, а вечная тревога и беспокойство о невозвращении Виктора Алексеевича еще больше расстраивали и ухудшали ее здоровье. Последнее письмо от него она получила откуда-то из Швейцарии и не могла понять, зачем он туда поехал, а Виктор Алексеевич, не объясняя причин, писал только, что, может быть, ему придется ехать и еще дальше. О возвращении не упоминалось ни слова. С тех пор прошло больше месяца, а новых писем и известий никаких больше не было. Марье Сергеевне еще ни разу не приходилось так долго не получать от него писем; большей частью они приходили раз в три недели. Теперь же кончалась пятая, и с каждым днем тревога и тоска Марьи Сергеевны усиливались. Целыми дня она ждала и прислушивалась к звонку – не идет ли почтальон. Каждый раз, увидев идущего по двору почтальона, она менялась в лице и порой выбегала даже на лестницу. Но, убедившись, что он проходит мимо и звонит к кому-нибудь из соседей, она бледнела, и судорожное рыдание сжимало ей горло. После каждого нового разочарования она делалась еще апатичнее, теряла аппетит и сон, а если и засыпала, то продолжала все так же мучительно волноваться и во сне, в котором ей грезились почтальоны, слышались звонки и казалось, что он приехал и звонит в дверь. И сновидения эти были так живы и реальны, что часто Марья Сергеевна даже просыпалась, быстро вскакивала с постели и, с тяжело бьющимся сердцем, долго еще вслушивалась в ночную тишину, ожидая, не повторится ли звонок, почудившийся ей во сне. Но звонок не повторялся, все было тихо, все спали, слышалось только хриплое присвистывающее дыхание старухи-няньки, спавшей в соседней комнате, да иногда пищал спросонок маленький Коля. Марья Сергеевна опять тоскливо опускалась на подушки и порой, охватываемая жгучей тос-

кой, начинала невольно плакать. Временами с ее глаз как бы спадала завеса, ослепляющая их, и она начинала понимать истину. Но ужас и отчаяние, нападавшие на нее при этом, были так мучительны, что она в страхе старалась насильно возвратиться к прежней вере и надежде. Она не хотела поверить в то, что подсказывал ей здравый смысл, но заглушить его в себе совсем все-таки не могла и иногда, позвав Феню, с ужасом спрашивала ее:

– Феня, что же это такое? Что же это значит?

Феня молча пожимала плечами.

Почем же она-то знает, что это значит! Первое время она еще утешала и успокаивала барыню, но теперь она и сама почти всегда была не в духе, а приставанье, слезы и отчаяние барыни только еще больше раздражали ее.

– Господи, да потерпите! – советовала она недовольным тоном. – Ведь нельзя же так, может, им и вправду некогда.

– Да ведь седьмая неделя, Феня, – безнадежно повторяла Марья Сергеевна.

Феня молчала и с сердитым лицом продолжала обметать пыль и мести комнату.

Марья Сергеевна, по возможности, крепилась перед всеми домашними и особенно перед Наташей. Но с Феней она уже не могла и не хотела выдерживать характер. Хоть с кем-нибудь она должна была говорить о нем, плакать, мучиться перед кем-нибудь и искать поддержки и успокоения, и, по устоявшейся уже привычке, находила Феню более остальных для этого подходящей.

Наташа молча следила за матерью, и хотя они мало общались друг с другом, встречаясь почти исключительно за обедом и чаем, тем не менее Наташа видела, что Марья Сергеевна тоскует, мучается, болеет, но знала, что помочь ей ничем нельзя. Поэтому она еще глубже уходила в свои занятия, делая себе из них что-то вроде развлечения. Когда-то, поступая в гимназию, Наташа была резвой и шаловливой девочкой и хотя не заводила себе особенно душевных подруг, как бы не желая этим изменять своей дружбе с матерью, но зато дружна была почти со всеми. Живая и впечатлительная, она затевала игры, возню и часто бывала даже заводилой различных партий. Теперь же, вся поглощенная своими семейными историями и измученная разладом отца с матерью, она как бы состарилась раньше времени.

Ее класс состоял почти весь из ее однолеток, девочек пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет, но в последний год она постепенно отходила от них, и их интересы, мечты и жизнь сделались ей чужды и непонятны.

Теперь ее класс уже не играл и не шалил, как еще два года назад. Девочки подросли, из подростков становились постепенно молоденькими девушками, в которых начинали проглядывать уже будущие женщины с их натурами и призванием. Почти у каждой из них уже начинала зарождаться «своя жизнь», и, побросав игрушки, они потихоньку зачитывались романами, мечтая по-своему о любви, замужестве и будущих героях.

Наташа не мечтала ни о чем и не желала ничего. Любовь вызывала в ней отвращение, и все мужчины делились для нее на два типа: один представлял ей в образе отца, прекрасным и великодушным, другой олицетворялся Вабельским, то есть был низок и ничтожен. К первому принадлежал только один Павел Петрович, а ко второму – все остальные мужчины с Вабельским во главе. А потому всякая мысль о любви и замужестве была ей противна. Она не понимала, как ее товарки могут мечтать о ней. Слушая их рассказы, она мысленно удивлялась их наивности и, как бы заранее предвидя все те горе и несчастье, которые, как ей казалось, должно будет принести им осуществление их надежд и мечтаний, смотрела на них с состраданием и даже с презрением. О своем будущем она уже ничего не загадывала и старалась совсем не думать о нем. Все мечты и желания ее сбились, спутались, и, чувствуя их невозможность и двойственность, она потеряла веру в их осуществление, не умея найти хоть сколько-нибудь счастливого выхода из того ужасного положения, в котором очутились они все, то есть отец,

мать и она сама. Все будущее представлялось ей печальным, и сама жизнь, не только ее личная, но и всего человечества, казалась ей чем-то тяжелым, трудным и неприятным.

Наташа часто с удивлением спрашивала себя: «Неужели мама не видит и не понимает, какой это человек? А если видит и понимает, то как же может любить?» И Наташа поражалась этому странному ослеплению. Почему же она, еще совсем неопытная девочка в сравнении с матерью, сразу поняла его, и не только его самого, но и его пошлое, легкомысленное отношение к любимой женщине, тогда как Марья Сергеевна, очевидно, этого не замечала и вполне верила в честность и искренность его любви к ней?

Даже теперь, когда дело стало окончательно ясно, Марья Сергеевна все еще, как бы нарочно, не хотела видеть истину. И когда при получении писем от Виктора Алексеевича она бывала особенно весела и счастлива, Наташа молча следила за ней с тем же удивленным состраданием, с которым слушала и своих подруг, мечтающих о любви.

Если Марья Сергеевна была несчастна год назад, то несомненно, что теперь она была еще несчастнее, и Наташа хорошо понимала это. Видеть горе матери ей было больно и тяжело, но в то же время причина этого горя не вызывала в ней участия и жалости, а, скорее, была ей неприятна и вызывала только невольное чувство презрительного сострадания.

Наташа не могла простить себе того, что «тогда» просила Вабельского и, вспоминая об этом, каждый раз испытывала такой стыд и злость на самое себя, что, вспыхивая до корней волос и закрывая руками лицо, до боли закусывала губы.

Зачем она унижалась перед ним? Зачем пошла просить?

Она действовала тогда по какому-то страстному, безотчетному порыву, и в ту минуту ей казалось, что если она и не спасет этим мать, то хоть насколько возможно отведет от нее новый удар, новое страдание и горе. Как она не поняла тогда, что это ничему не поможет, ничего не улучшит и не принесет ничего, кроме нового унижения и мучительного стыда?

Наташа знала, что мать уже более шести недель не получала от Вабельского никакого известия, и с тревогой вглядывалась в ее постаревшее измученное лицо.

Если до сих пор Марья Сергеевна могла заставлять себя не понимать, что Виктор Алексеевич совсем бросил ее, то теперь, с ужасом думала Наташа, она поймет, теперь уже нельзя не понять... И она со страхом и беспокойством ожидала, что из этого выйдет и как оно может подействовать на мать, когда та окончательно убедится в истине.

Не раз ей приходило в голову написать обо всем отцу и просить, умолять, чтобы он простил Марию Сергеевну, примирился с ней и снова взял их всех к себе. Но та жизнь, которая должна была начаться с того времени, как они снова поселятся вместе, то есть отец, мать, она и маленький Коля, – представлялась ей такой фальшивой, невозможной и даже отвратительной, что она с горечью бросала письмо и начинала другое, где уже ни одним словом не упоминала о случившемся.

Не будь этого ребенка, они могли бы еще как-нибудь примириться, казалось Наташе... Конечно, былого счастья, любви и уважения в семье уже не было бы, но по крайней мере они хоть жили бы снова вместе. С годами чувство неловкости и отчуждения, быть может, постепенно сгладились бы и в конце концов через несколько лет все было бы предано забвению, насколько это возможно в подобных случаях, и они жили бы если и не счастливо, то хоть спокойно... А теперь и это невозможно благодаря этому ребенку!.. И злость против него еще сильнее поднималась в ней.

Ей казалось, что быть в их семье этот ребенок имеет так же мало права, как и его отец. А между тем уничтожить это право было уже невозможно: ребенок был даже сильнее отца и своим существованием завершал то разрушение их семьи, которое начал его отец.

И Наташа, раздраженная всем этим, раздражалась еще сильнее от вечных его капризов, плача и крика, которыми маленький тиран словно нарочно мучил весь дом.

Марье Сергеевне казалось, что в этих капризах виноваты все, кроме самого Коли; она обвиняла няньку, Наташу, доктора, находила, что все они не умеют обращаться с ребенком и нарочно мучают и сердят его, и сердилась то на няньку, то на Наташу, то на новую горничную, которая особенно раздражала ее своей неумелостью.

Неделю назад Феня ушла, и для Марьи Сергеевны это было новым, неожиданным и сильным ударом, от которого она совершенно растерялась и даже заболела.

Она упрашивала Феню остаться, обещала ей прибавку жалованья, подарки и даже плакала, но Феня осталась непреклонной. Нет уж, будет с нее! Довольно она мучилась!

С тех пор как Виктор Алексеевич исчез, и Феня убедилась, что он окончательно бросил барыню, место это вдруг потеряло для нее всякую ценность и интерес.

В доме царствовали беспорядок, болезни, тоска, ссоры, и Феня, привыкшая к хорошим местам в богатых домах, начала сильно скучать.

Что, в самом деле, за наказание?! Ни днем, ни ночью покоя нет! То мальчишка болен, плачет, капризничает, то барыня заболела! То с одним возись, то с другим! По ночам не спишь, живут, как затворники какие! Она и сама совсем больна; своя рубашка ближе...

И, несмотря на все просьбы Марьи Сергеевны, Феня все-таки ушла. Она имела уже приглашение на новое место у одной французской актрисы, у которой она жила прежде. К тому же на крайний случай у нее был уже сколочен изрядный для прислуги капиталец, и, сознавая себя обеспеченной и независимой, она не желала «хоронить себя заживо и коротать весь свой век в четырех стенах» с плачущей Марьей Сергеевной и капризным ребенком.

XIV

Тридцатого марта исполнилось ровно два месяца, как Марья Сергеевна получила последнее письмо от Виктора Алексеевича. Но в последнюю неделю она была даже бодрее и спокойнее, чем раньше. Случилось это потому, что, потеряв, наконец, терпение и мучаясь всевозможными предположениями, она решила съездить на квартиру Вабельского с целью узнать что-нибудь у Аристарха.

В квартире был один только Аристарх, так как новый жилец ее, которому она была сдана с мебелью и лакеем, уехал куда-то в театр.

Отворив дверь и увидев Марью Сергеевну, Аристарх, вполне постигший своего барина и чутьем опытного столичного лакея прекрасно знавший все его похождения, сразу понял, в чем дело.

«Ну, на чаек получим!» – мгновенно решил он, встречая ее радостной и любезной улыбкой и приготовившись врать напропалую, лишь бы только побольше сорвать с нее.

Марья Сергеевна, закутанная в ротонду, с мягким белым платком на голове, смущенно стояла в дверях.

Когда она решила поехать на квартиру Вабельского и узнать от Аристарха, где Виктор Алексеевич и что с ним, ей это казалось крайне простым и легким. Теперь же, стоя перед лакеем в этой передней, где она знала и помнила каждый уголок, она вдруг почувствовала себя страшно неловко и не знала, что сказать и как начать свои расспросы. Но сметливый Аристарх начал сам. Он давно догадывался, что барин «укатил» именно от нее и что она приехала что-нибудь разузнать.

– Давненько не видали вас, сударыня. Я уж сам собирался было сбежать к вам на квартиру, узнать, все ли у вас благополучно.

Он любезно и почтительно упрашивал ее войти и присесть.

– Вы, сударыня, не извольте беспокоиться, у нас никого дома нет, я один во всей квартире...

Марья Сергеевна, застенчиво улыбаясь и краснея, но уже слегка ободренная любезным приемом Аристарха, сконфуженно переступила порог и опустилась на высокий дубовый стул.

Но еще прежде Аристарх быстро схватил лежавшую на окне тряпку и, ловко смахнув ею со стула пыль, любезно проговорил:

– Пожалуйте, сударыня, присядьте-с; теперь чисто будет. Да, может, вам желательнее в кабинет было бы пройти?

Но Марья Сергеевна, избегая встречаться с ним взглядом, поспешно отказалась:

– Нет, нет, не надо, я на минуту.

На мгновение они оба замолчали. Марья Сергеевна оттого, что стеснялась сразу начать свои расспросы, Аристарх оттого, что еще не совсем уяснил себе, что ему врать и насколько барыня сама правду знает.

Марья Сергеевна задыхалась от волнения, но хотела показать Аристарху, что это не от волнения, а из-за высокой лестницы.

– Высоко... – неопределенно проговорила она, кивнув в направлении лестницы.

– Это точно-с, – живо подхватил Аристарх. – Ежели-с кто с нежным здоровьем, так точно, что запыхаться можно. А нам-с, мужчинам, другая, значит, комплекция положена, так оно и выходит, что ничего-с! Всего третий этаж, пухом взлетишь! Кабы не это – так этакой квартире, как наша-с, и цены не было бы!

Но, зная, что все это только, так сказать, присказка, а настоящая-то сказка впереди будет, и что весь этот разговор Марья Сергеевна заводит только так, из учтивости и для отвода глаз, а сама желает совсем другого, он ловким и незаметным маневром старался направить его в должную сторону:

– Вот хоть бы и Виктору Алексеевичу...

Марья Сергеевна слегка вздрогнула, покраснела и быстро подняла глаза.

– Для них такая-с лестница ничего-с не стоит! Потому что, действительно, можно сказать, мужчина в полной силе; ну а если устанут либо что еще, сейчас же садятся в машину и велят швейцару поднимать. Швейцар мне, значит, электрический звонок дает. Уж надо правду говорить: дом со всем комфортом устроен! Виктор Алексеевич уж сколько квартир допрежь этой пересмотрели – нет, не годятся, все что-нибудь да не так. Потому как им, по делам их, «кое-как» не подходит! Дела большие, а ведь, как говорится, сударыня, каждому кораблю и плавание, значит, особенное выходит!

С тех пор как ушла Феня, Марья Сергеевна уже ни с кем не говорила о Викторе Алексеиче, и Аристарх, распространявшийся о нем с такой охотой и любезностью, казался ей в эту минуту необыкновенно симпатичным, добрым и преданным не только лично Вабельскому, но как бы даже и ей самой, и она слушала его с удовольствием, не избегая уже его взглядов, и, глядя на него, улыбалась ласковой, благодарной улыбкой.

Когда он заговорил о делах, Марья Сергеевна почувствовала, что именно теперь настал самый удобный момент перевести разговор на то, что больше всего интересовало ее и ради чего она приехала.

– Да, – тихо и все тем же, неопределенным каким-то тоном начала она, – у него очень серьезные дела... Вот и теперь...

Но она не договорила и остановилась почему-то.

Аристарх внимательно глядел на нее.

– Да-с, и теперь... – так же неопределенно повторил он.

«Нужно ведь тоже со смыслом, – подумал он, – чтобы потом от того какой нахлобучки не получить...»

Он немного помолчал, соображая, как бы ему начать половчее. И вдруг, тряхнув головой, он слегка откашлялся и, заложив одну руку за свой белый жилет, а другой задумчиво проводя

по своим роскошным волнистым бакенбардам, спросил равнодушно, но почтительным тоном, как бы стараясь смягчить этой почтительностью неделикатность вопроса:

– А вы, сударыня, давно от них известия имели-с?

Марья Сергеевна ярко вспыхнула и быстро опустила глаза. Хотя она за этим и приехала, но теперь ей стало мучительно стыдно сознаться его лакею, что она уже больше двух месяцев не получала от его барина ни одной строчки. Но в то же время ей не хотелось и уезжать, не узнав ничего, и, пересиливая свое смущение, она тихо, глядя куда-то в пространство, мимо головы Аристарха, проговорила:

– Да, давно... Я... Я вот и приехала узнать... Здоров ли... Не случилось ли с ним... что-нибудь...

И, чувствуя на себе почтительный взор Аристарха, задумчиво устремленный на нее, она невольно краснела все больше и больше.

– Он все время писал... – продолжала она сбивчиво и смущенно, – вот только теперь...

– Так-с...

Аристарх перевел свой задумчивый взор с ее лица на носки своих лакированных сапог и поглаживал, слегка теребя, свои бакенбарды.

– А... Вы... Ничего не получали от него?

И, спрашивая, она нарочно взглянула ему прямо в лицо, как бы желая на нем прочесть ответ.

Аристарх неопределенно усмехнулся:

– Мне-то им что же писать... Не о чем. Да хоть бы и было о чем, так и то, я так полагаю, вряд ли бы собрались. Скорей уж телеграмму пришлют, а писем никогда-с не писали.

Марья Сергеевна безнадежно глядела на него, и с ее разгоревшегося было лица уже сбегали живые краски, и оно снова принимало устало-апатичное выражение.

– Уж очень оне писать-то не любят! – продолжал Аристарх. – Верите ли, сударыня, даже когда что нужное, так и то, бывало, с трудом, с трудом себя принудить могут. Одно время так даже секретаря держали, потому как по их делам без переписки никак невозможно-с. Конечно, если уж там что по их собственным делам, так секретарю за них писать не приходится, зато оне так уж устроить стараются, чтобы без писем обойтись.

То, что говорил Аристарх, если и не могло совсем успокоить Марью Сергеевну, зато хоть немного утешало ее, объясняя ей отчасти причину странного молчания Виктора Алексеевича и оставляя ей хоть маленький лучик надежды. Но по ее печальному лицу Аристарх понимал, что этого еще очень мало и что барыне желалось бы чего-нибудь большего.

Он прикидывал, что чем больше он обнадежит ее, тем лучше станет ее расположение духа и, следовательно, тем щедрее будет подачка.

– А вот господину Астафьеву оне точно писали-с... – начал он снова.

Марья Сергеевна встрепенулась:

– Какому Астафьеву?

– Товарищ тут ихний один. У них с ним дела кое-какие есть, так вот по этим самым делам и писали-с. А я в тот день как раз, значит, у них на квартире был, потому как ихний камердинер мне кумом приходится, так я у него чай пил. А барин-то, выходит, сами вышли еще, да и говорят мне: «Сейчас, Аристарх, от твоего барина письмо получил по одному делу, так он, между прочим, пишет, чтобы я тебе передал, чтобы ты на всякий случай комнату его каждый день протапливал (оне одну в запас нарочно оставили, даже на ключ заперли и ключ мне передали), да и вообще наготове держал бы, потому что он со дня на день приехать может».

– Неужели? – Марья Сергеевна разом оживилась, и все лицо ее засияло улыбкой. – Так и сказал?

– Так и сказали-с! – невозмутимо продолжал Аристарх, вдохновляясь все больше и больше. – И так даже тогда господин Астафьев передавали (оне барин такой обходительный,

разговорчивый), что Виктор Алексеевич пишут, страсть, как у этих немцев проклятых соскучились, и сами ждут только не дождутся, чтобы только оттуда вырваться. Что только дела вот ихние все еще там не закончены, очень уж запутаны были, долго разбирать да хлопотать им пришлось, а что как только закончат, так даже в тот же самый день домой выедут, потому что это теперь, можно сказать, мечта их.

– Неужели? – радостно повторяла Марья Сергеевна, и счастливая улыбка все ярче озаряла ее лицо.

– Да уж будьте спокойны, сударыня. Я ведь их не первый год знаю, слава богу-с, шестой год служу, можно сказать, все ихние привычки выучил-с. Так полагаю, что оне и вам-то, сударыня, ничего не пишут только потому-с, что сами каждый день выехать надеются.

– Да, да, конечно, очень может быть!

Марья Сергеевна даже засмеялась: и как это раньше ей в голову не приходило! И как хорошо она сделала, что приехала узнать! Она предчувствовала, что все выйдет хорошо! И какой этот Аристарх славный, честный! Надо же было раньше еще приехать к нему, по крайней мере, все это время она была бы спокойна.

– А давно он это писал?

– Да уж порядочно, недели две с лишним будет. Теперь оне непременно скоро должны быть; я и комнату каждый день топлю.

Ну вот, а она-то мучилась, беспокоилась, глупая, каких страхов себе только не выдумывала. И, задумчиво улыбаясь, она просидела несколько мгновений совсем молча, слегка прищуривая свои остановившиеся в одной точке глаза, не то о чем-то думая, не то о чем-то вспоминая.

Наконец она поднялась со стула и взглянула еще раз на Аристарха. Какое у него славное, доброе лицо!

– Ну, прощайте, Аристарх, – проговорила она, улыбаясь, и слегка смущенным жестом вложила в его руку десятирублевую бумажку.

Сначала она думала дать ему рубля три, но теперь ей казалось, что этого слишком мало, и хотелось дать больше.

Аристарх, ощупав бумажку и заметив уже ее розовый цвет, кланялся, благодарил и даже с особым чувством приложился к руке Марьи Сергеевны, которую она сконфуженно и торопливо вырвала у него.

– Не за что, не за что... – смущенно говорила она. – Покажите мне лучше его комнаты, мне хочется немного посмотреть на них.

– Господи! Да сколько пожелаете, сударыня, сделайте милость! Нам от этого только удовольствие.

И он кинулся вперед, распахивая перед ней все двери и быстро, на ходу, поправляя зачехленную скатерти на столах и стульях.

Марья Сергеевна, не спеша, прошла все комнаты, останавливаясь на несколько секунд в каждой из них и оглядывая знакомые стены и мебель ласковым и нежным взглядом. Ей было и грустно, и отрадно, и, задумчиво улыбаясь одними глазами, она вызывала в своей памяти те вечера, которые когда-то проводила тут, рядом с ним... Как тогда было хорошо! И как счастлива была она!.. А теперь... Неужели кончено?.. Нет, нет, она не верит, не хочет, не может этому верить, скоро все это тяжелое время пройдет, она предчувствует, и снова все будет хорошо...

Аристарх все так же почтительно, быстро и любезно выбежал провожать ее на лестницу и, спустившись до самой швейцарской, торопливо отстранил швейцара и посадил ее на ожидавшего извозчика, а пока тот отъезжал, он все время кланялся и посылал ей любезные пожелания доброго здоровья и всякого благополучия.

XV

Девятого апреля Марья Сергеевна проснулась очень рано. Она хотела съездить к доктору и доделать Колино платье, в котором на следующий день хотела его причащать. Это платье для причастия она специально шила ему сама и делала это с особенными любовью и заботливостью. На другой день она собиралась в церковь причащать сына, во-первых, потому, что ей казалось, что никто, кроме нее, не сумеет сделать это, не простудив ребенка, а во-вторых, потому, что она любила то торжественное, умилявшее ее чувство, которое всегда наполняло ее в ту минуту, когда она подносила своего Колю к чаше со Святыми Дарами.

После разговора с Аристархом она чувствовала себя успокоенною и ободрившеюся. Ей так страстно хотелось верить в возвращение Виктора Алексеевича, что довольно было пустых слов Аристарха, чтобы эта вера в ней воскресла и укрепилась. Марье Сергеевне казалось теперь, что Виктор Алексеевич непременно должен возвратиться к следующему воскресенью, и мысленно она даже старалась вычислить и предугадать тот день, когда он вероятнее всего может прибыть в Петербург.

Его молчание уже не беспокоило ее, и мысль, что это молчание может означать что-то другое, помимо его лени, как заверял Аристарх, уже не приходила больше ей в голову и не пугала ее.

Она мечтала, что сразу, как вернется, он сейчас же приедет к ней, позвонит, она сразу узнает его звонок, всегда своеобразный и отлично изученный ею. И Марье Сергеевне уже представлялось, как кинется она ему навстречу, сама распахнет дверь на лестницу и... И его фигура в бобровой шинели и шапке вставала перед ней на светлом пространстве распахнутых дверей так живо и ясно, что она видела ее в мельчайших подробностях, начиная от мягких складок длинного капюшона шинели, коричневой родинки на шее возле отложного воротника рубашки и кончая морозными каплями тающего снега в светлой вьющейся бороде и модными рыжими перчатками. Таким, бывало, приезжал он в последнее время перед своим отъездом и точно таким же представлялся ей теперь. Она мысленно окидывала эту картину одним взглядом счастливых глаз, и чувство радости, восторга, счастья и любви, которое, казалось ей, наполнит ее в тот миг, когда она увидит его, охватывало ее уже теперь при одной мысли о свидании.

Она все время была оживлена, радостна и весела в своем терпеливом ожидании. Моральное оживление как бы усиливало и ее физическое тело. Всю неделю, несмотря на усиливавшуюся боль в левой стороне груди, она чувствовала себя гораздо лучше и здоровее. Настолько лучше, что уже колебалась, ехать ли ей к доктору сегодня, или же, отложив этот визит до следующего приема, теперь быстрее заканчивать Колино платье.

За эти дни она как бы вновь похорошела и помолодела вследствие радостного возбужденного ожидания. Она снова начала заниматься своим туалетом для того, чтобы, в случае возвращения, он не застал ее врасплох, непричесанной, неодетой и неинтересной. Она с утра надевала изящное серое платье, которое, как ей казалось, шло ей больше других, и сильно затягивала в корсет свою располневшую талию, хотя это и было крайне вредно для нее, и врачи вообще запретили ей носить его. Но ее полная фигура без корсета казалась ей такой расплывшейся и некрасивой, что она ни за что не хотела показаться ему так в первый день его приезда. С мельчайшими, почти неуловимыми хитростями, свойственными только женщине, она всячески старалась сделать себя красивее и моложе, только чтобы показаться ему интереснее и не вызвать невольного разочарования. И теперь ее склонившаяся над швейной машинкой головка, еще не потерявшая своего тонкого абриса шеи и профиля, была причесана с особой тщательностью и вниманием.

Дошив, наконец, беленькое платье и закрепив последнюю нитку, Марья Сергеевна в изнеможении опустила руки. Машинка всегда страшно утомляла ее, действуя дурно даже на сердце.

Вследствие этого она почти никогда не шила на ней и только на этот раз сделала исключение. Платице, белое, все из *broderies anglaises*, с широким голубым кушаком, вышло прелестным, и, подняв его в руках, Марья Сергеевна, любуясь, поворачивала его в разные стороны. Спокойно откинувшись на спинку кресла, она с улыбкой разглядывала его, мысленно представляя, какой нарядный будет в нем Коля. Вдруг что-то стукнуло в детской, как будто упало что-то тяжелое, и вслед за тем раздались пронзительный крик и плач маленького Коли.

Марья Сергеевна вздрогнула, вся резко побледнела, испуганно бросила платье и быстро кинулась в детскую. Коля, упав, по-видимому, с постели няньки, на которую та его положила, лежал на полу и страшно кричал, а няньки в комнате не было.

Марья Сергеевна с жалобным стоном бросилась к нему и, быстро подняв его, страстно и нежно прижимала его к своей груди, целуя и утешая его. Мальчик, упав, стукнулся, вероятно, лицом, и из его ссаженного носика лила кровь. Марья Сергеевна видела только, что все его лицо в крови; от испуга и ужаса в первую минуту она совсем растерялась и не могла сообразить, что ей делать и как помочь. Ей казалось, что с Колей случилось что-то ужасное, и она растерянно металась с ним по комнате.

Вбежавшая на крик нянька испуганно бросилась к ней, но Марья Сергеевна, увидев ее, вдруг поняла, что во всем виновата только она, эта нянька, которая, оставив Колю одного, сама убежала в кухню. Няня, чувствуя свою вину, оправдывалась, что-то говорила, охала и утешала, но Марья Сергеевна ничего не слушала. Она страстно прижимала к себе Колю, словно боясь, что он опять упадет, и, взволнованная, потеряв всякое самообладание, не слушая и не понимая ничего, кроме того, что Коля в крови, кричала с искаженным от негодования лицом, упрекая няньку:

– Как ты смела... Как ты смела уйти?! Бросить ребенка... Как смела... Как ты смела...

Волнение не давало ей говорить, она задыхалась и вся дрожала от испуга и гнева. Оглушенный криком двух женщин, маленький Коля уже перестал сам плакать и только жалобно всхлипывал, глядя удивленными глазенками то на мать, то на няню. Но Марья Сергеевна, чувствуя, наконец, что совсем задыхается и почти падает от волнения, перестала кричать, бессильно опустилась на стул и, не выпуская из рук ребенка и тяжело дыша, прикладывала к его лицу наскоро смоченный платок, целуя его головку.

Кровь перестала идти, и мало-помалу Коля совсем успокоился, но Марья Сергеевна, все еще как будто не веря, что он цел и вовсе не разбился, тревожно осматривала его.

– И только на минутку-то и отлучилась, – говорила растерянно нянька, подавая новый компресс, – иной раз и на дольше, да ничего, Господь милует, а тут, скажите на милость, какой грех вышел...

Марья Сергеевна молча махнула рукой и, взяв чашку с водой и компрессами, вышла с Колей на руках в свою комнату.

Эта нянька всегда раздражала ее своей неумелостью, но в эту минуту она не в состоянии была даже видеть ее.

«Да, – думала она, – если бы была Феня...»

И при мысли, что Фени нет, что она безжалостно и неблагодарно бросила ее одну, больную и беспомощную, с грудным ребенком на руках, ей сделалось вдруг так обидно и горько, что она чуть не заплакала. Она вдруг почувствовала себя такую измученной, одинокой, всеми покинутой... И в это мгновение даже оживлявшая ее вера в возвращение Вабельского вдруг пошатнулась и погасла...

Она угрюмо смотрела куда-то в пространство перед собой сухими и строгими глазами и тихо качала ребенка.

Коля опять заплакал. Она молча поднялась со стула и начала ходить с ним взад и вперед по комнате, стараясь укачать его на своих руках. Своей тяжестью он оттягивал ей руки, и они

неприятно ныли и затекали, но она не обращала на это внимания, вся поглощенная своими мыслями и ощущениями.

В душе ее происходило что-то странное, новое и непонятное для нее самой, но это странное и непонятное вдруг как бы начало проявляться и открывать ей что-то, чего раньше она не видела и не понимала. Перед ее внутренним взором вдруг как бы начала спадать та завеса, которая скрывала от нее самой ее душу и жизнь. И то, что теперь открывалось ей, пугало и поражало ее. Она сама не могла объяснить себе, каким образом мысль о Фене могла вызвать в ней начало этого странного переворота, но чувствовала, что вызван он именно мыслью о ней и о том, что она, Феня, бросила ее и ушла от нее. Наташа и Феня были единственными существами, оставшимися ей от прежней жизни, людей и общества. Но Наташа, оставаясь с ней, в душе по-прежнему принадлежала всем существом своим той жизни и тем людям, от которых ушла; тогда как Феня вместе с ней вполне вошла в то новое, с которого начался и новый этап ее жизни, с новыми людьми, привязанностями и условиями. И теперь от этого нового опять не оставалось ничего, даже этой Фени, с уходом которой оно как бы окончательно порвалось, рухнуло и исчезло... Ей казалось теперь, что жизнь ее разделена на две половины, и обе они воскресали и оживали перед ней с необыкновенной ясностью и точностью. Даже само существо ее как бы двоилось, и первое было чуждо второму, второе – непонятно первому. Первая половина всецело принадлежала Наташе и Павлу Петровичу, жила их жизнью, чувствовала себя неотъемлемой частицей их существования, неразрывно связанного с ее собственным существом, тогда как для второй, «новой» половины они были уже чужды и, отодвигаемые какой-то иной силой, уходили куда-то в глубину и ощущались ею как-то смутно и даже неприятно. И по мере того, как они все дальше и дальше отходили от нее, менялась и сама она. Ее прежнее душевное «я» как бы перерождалось, переливаясь в совсем иную, нежели прежняя, форму. И вдруг в эти минуты в ней снова начала просыпаться «она прежняя», совсем уже было затихшая и исчезнувшая за второй период ее жизни. И теперь оба эти существа вдруг встретились в ней и остановились, пораженные, лицом к лицу, друг против друга, не понимая и удивляясь одно другому. И она сама, в каком-то странном смятении и с ужасом, всматривалась в свою душу, словно прислушиваясь к той борьбе и перевороту, который совершался в ней, и не постигала, которое из этих двух «я» сильнее, правдивее и даже ближе ей...

Но чем больше пробуждалась в ней та, «прежняя», Марья Сергеевна, чем сильнее чувствовала она ее в себе, тем меньше она верила в то, во что верила и на что надеялась вторая, «новая». И эта первая, более спокойная и благоразумная, как бы силилась доказать ей, что все, чем она живет теперь, во что верит и что считает целью своего существования, – ложь.

– Да, это ложь, – говорила она, как бы убеждая и доказывая себе, – и ты это знаешь. И все-таки нарочно лжешь себе, обманываешь себя. Ложь, что он любит тебя, ложь, что он даже любил тебя. Так не любят. Ты любишь сама, значит, знаешь, что это такое, и сознайся, разве то чувство, каким ты любила его, похоже сколько-нибудь на его чувство к тебе? Нет, нет и нет! А ты нарочно лжешь самой себе! Он уехал только для того, чтобы отвязаться от тебя, и ты это знаешь, ты чувствовала это еще в ту минуту, когда он за обедом сказал тебе, что уезжает, предчувствовала даже намного раньше, что это так будет, и все-таки верила его лжи о возвращении, насильно, наперекор разуму заставляла себя верить. Ты понимала эту ложь еще тогда, когда он не хотел вот этого ребенка, и на твое признание ответил молчанием, и тогда ты уже лгала, утешая и успокаивая самое себя. Лгала еще раньше, когда старалась в своем увлечении обвинить мужа и его неумение вызывать в тебе то страстное чувство, на котором ты потом добровольно сожгла себя! Ну, и что же дало тебе это чувство? Счастлива ты теперь? Довольна? Это то, чего ты искала, к чему так страстно стремилась и ради чего разрушила все, чем жила раньше, и не только одна ты – и твоя дочь, и твой муж? Их бросила ты, а теперь бросили тебя! Но так и должно было случиться; когда ты сама желала бросить их, ты ведь не заручалась, кажется, их согласием, не спрашивала их, желают ли и они также этого, не спрашивала и самое себя: имею

ли я на это право? Ты думала и заботилась только о себе. А теперь, когда бросили тебя, ты ужасаешься, плачешь и не хочешь верить этому! У тебя недостает даже смелости и честности сознаться себе, и ты добровольно закрываешь глаза, придумываешь себе разные сказки и цепляешься за них всеми силами, боясь и трусая потерять невольно в них веру. А между тем, если бы у тебя была гордость и самолюбие, ты сама, первая покончила бы с этой фальшью. А ты унижалась и перед ним, и перед самой собой, выпрашивая у него уже не любви, нет, ты этого не смела, но только милости не бросать тебя совсем, и хоть изредка кидать тебе немного ласки... Ты насильно, нарочно давила в себе всякую гордость, всякий стыд и самолюбие, чтобы только они не мешали тебе унижаться перед ним и вымаливать эти ласки и милости... И, несмотря на все эти оскорбления и унижения, ты все-таки побежишь к нему, как только он позовет тебя!

Она ярко вспыхнула от стыда и оскорбления; ей казалось, что теперь она ни за что этого не сделает. Но какой-то другой, внутренний голос неутомимо подсказывал ей:

– Нет, побежишь! Отчего же тебе и не бежать, ты не видела еще полного унижения женщины! Что же, попробуй! Может быть, и понравится, может быть, ты и тогда сумеешь лгать себе и уверять себя, что это счастье, а не позор!..

Взволнованными шагами она ходила по комнате с заснувшим на ее руках ребенком, и ее пылающее лицо дрожало от тех оскорблений, которыми она беспощадно бичевала себя, точно находя в них какое-то болезненное, мучительное наслаждение. Руки ее затекли и ныли от усталости, и эта ноющая ломота отзывалась тупой болью во всем ее левом боку. Она вдруг бессознательно заметила эту боль и, взглянув на ребенка, убедилась, что он крепко спит. Тогда, как бы отрешившись на мгновение от своей душевной борьбы, она подошла к своей кровати и осторожно опустила на нее ребенка, обложив его со всех сторон, привычным машинальным движением, подушками, чтобы он не упал. И только тут она почувствовала, как страшно устала. Руки ее посинели и затекли от утомления, ноги дрожали и подгибались в коленях.

Она подошла к маленькому столику с графином, налив себе дрожащей от волнения рукой стакан воды, выпила его большими глотками и хотела уже опуститься в свое большое кресло возле машинки, но, проходя мимо нее, задела и уронила нечаянно белое Колино платье. Она наклонилась, чтобы поднять его. Оно упало под самую машинку, и ей было неудобно достать его рукой. Тогда, перегнувшись всем телом на левый бок, она протянула руку к тому месту, где оно лежало, и уже дотянулась до него, как вдруг в ее груди что-то дрогнуло, страшная судорожная боль словно скомкала и сжала все ее сердце. Марья Сергеевна с глухим стоном судорожно вцепилась в свою грудь и бессильно рухнула на пол...

XVI

Наташа, не слушая и не понимая ничего, что ей говорила едва поспевавшая за ней няня, почти бежала по улице, не догадываясь даже взять извозчика, чтобы быстрее доехать. Она видела в конце улицы только этот большой, серовато-желтый каменный дом, так уже знакомый ей теперь, и не спускала с него испуганных глаз, точно хотела сквозь его стены увидеть то ужасное, что ожидало ее в нем. Из всего, что ей говорила, плача и путаясь, бежавшая за ней нянька, она поняла только первые слова: «С маменькой несчастье» и дальше уже не слушала ничего, потому что после этих слов все другое казалось ей неважным и ничтожным.

Поспешно, задыхаясь, взбежала она на третий этаж.

На площадке лестницы ее уже дожидалась заплаканная Марфуша, новая горничная, поступившая на место Фени.

– Матушка, барышня... – проговорила она и, закрыв лицо передником, вдруг громко заплакала.

Наташа, не глядя на нее, бросилась в отворенную дверь квартиры и, торопливо скидывая с себя шубу и шляпу, не останавливаясь, пробежала прямо в комнату Марьи Сергеевны.

На пороге она остановилась на мгновение, тревожно оглядев всю комнату и сразу найдя глазами то, что искала, бросилась к кушетке, на которой, вытянувшись во весь рост, лежало закрытое одеялом тело Марьи Сергеевны.

– Мама... Мама... – заговорила испуганным и сдавленным голосом Наташа, и, быстро откинув с ее груди мешавшее одеяло, она опустилась на колени перед кушеткой и схватила дрожащими руками холодные руки матери.

– Мама... – повторяла она, трясая ее за руки и впиваясь полными ужаса глазами в лицо Марьи Сергеевны, на которое уже ложились мертвые восковые тени.

– Мама... Что ты?.. Что с тобой?.. Мамочка, милая... И, склонясь над ней, она целовала ее руки, лицо и приподнимала ее голову, заглядывая в закрытые глаза.

Силой того ужаса, который инстинктивно охватил ее, она бессознательно догадывалась, что с Марьей Сергеевной случилось то страшное и окончательное, помочь чему уже нельзя, но поверить этому она не хотела и не могла и с негодованием заглушала в себе эту мысль.

Не выпуская рук Марьи Сергеевны из своих, она старалась совсем приподнять ее, как бы желая насильно заставить ее этим встать и ожить. Но, видя, что и руки, и голова ее сейчас же снова падают, как только она перестает поддерживать их, она терялась и испуганно оглядывалась по сторонам, как бы ища в чем-то и какой-то помощи.

– Господи! – закричала она вдруг громко. – Да дайте же воды! Марфуша, там есть спирт... Нашатырный... В пузырьке, на этажерке... Да дайте же скорее, ради бога!.. Мамочка, милая, сейчас, сейчас...

И, как бы утешая и успокаивая мать, она поспешно расстегивала лиф ее платья дрожащими, непослушными пальцами. Руки у нее самой были так холодны, что она почти не чувствовала мертвенного холода матери.

– Барышня, милая, да на что же теперь спирт? – заговорила, плача, Марфуша. – Все равно не поможет...

И она заплакала еще сильнее.

Обе они с нянькой пугливо стояли в дверях спальни, прижимаясь одна к другой, и, всхлипывая и плача, заглядывали в лица покойницы и Наташи, но подойти ближе, видимо, не решились.

Когда Марфуша сказала, что спирт все равно не поможет, Наташа быстро подняла голову и оглядела ее глазами, полными негодования и отчаяния.

Марфуша вслух сказала то, о чем Наташа только догадывалась с мучительным ужасом, но во что всеми силами души не хотела верить.

– Как не поможет, как не поможет?! – страстно вскрикнула она. – Разве ты понимаешь, разве ты доктор?! Боже мой, Боже мой, няня, голубушка, милая, да достань же доктора, позови... Скажи, скорее... Очень нужно...

И, поднявшись с коленей, она подбежала к няньке и начала обнимать и целовать ее со страстной нежностью.

– Да я, матушка, мигом! Будьте спокойны, доктор-то в нашем же доме и живет. Сейчас, барышня-матушка, сейчас, родная. Мигом слетаю, не тревожьтесь, Бог даст, Господь милостив будет!

И, накинув на голову платок, старуха торопливо выбежала на лестницу.

Марфуша молча постояла еще несколько минут на пороге комнаты, тревожно и пугливо оглядываясь по сторонам, точно боясь каждую минуту видеть что-то страшное, но, заметив, что барышня не глядит на нее, тихонько вышла и, осторожными шагами прокравшись через гостиную, бросилась бегом на лестницу.

Наташа даже не заметила, что осталась одна. Она молча опустилась на край кушетки в ногах матери и, снова взяв ее руки в свои, начала растирать и согреть их своим горячим дыханием. Но руки не согревались и уже начали коченеть тем особенным холодом, который присущ

только мертвому телу. По осунувшимся и слегка уже заострившимся чертам Марьи Сергеевны разливались восковая желтизна и торжественное спокойствие мертвого лица. Наташа не спускала глаз с этого лица, старательно ища в нем надежды и жизни; но чем больше вглядывалась она в него, тем меньше оставалось в ней этой надежды...

И она уныло выпустила мертвую руку и молча, с каким-то странным удивлением глядела, как бессильно упала она на кушетку...

XVII

Благодаря няньке Наташа была избавлена от личного участия в тяжелых для нее приготовлениях к похоронам. Старуха живо вошла в свою роль, которая, по-видимому, ей очень даже нравилась, и деятельно взялась за все приготовления.

Наташа вошла в свою комнату и тяжело опустилась на стул. Странное оцепенение охватило ее. Она как бы не чувствовала ни горя, ни тоски, ни даже жалости: в душе ее царили пустота и темнота. К этой погасшей жизни она привыкла со дня своего рождения, с того момента, когда стала помнить и осознавать себя. И чем яснее становилось в ней сознание своего существования, тем нераздельнее сливалось оно с существованием матери и отца. Из всех миллионов людей, живущих на земле, ни одно существо не казалось ей столь важным и необходимым для мира, как именно эти два, бывшие необходимыми и важными для нее самой.

До сих пор она никогда еще не видела смерть так близко и ясно. Теперь же она явилась ей в лице родной матери и потому делалась еще ужаснее и непонятнее. Наташа припоминала мертвое лицо матери, как бы силясь мысленно прочесть в нем ту страшную загадку, которую ее ум был не в силах постигнуть.

«Умерла... – машинально повторила она про себя, – ее нет уже... И уже никогда не будет больше... Старая няня, бывало, говорила: умрет – к Богу пойдет...»

Но Бог, которому она привыкла молиться, незримое присутствие которого она, бывало, чувствовала в церкви, о котором никогда не думала, но который всегда был так близок, так прост и понятен ее душе, теперь, в эти минуты, когда она, захваченная впечатлением смерти, силилась постигнуть Его, не приходил к ней на помощь...

И она с удивлением оглядывала знакомые стены, как бы не понимая, почему все осталось таким же, как было и раньше? Почему не переменилось ничего, когда переменилось столь многое? Все стояло на своем месте, даже вот этот стакан с недопитым чаем... Да, когда она утром, перед уходом в гимназию, пила этот чай, думала ли она, что «это» случится? И вчера, и все эти дни приходила ли ей в голову, хоть на мгновение, такая мысль? И вот это случилось, вдруг, сразу, когда никто этого не ожидал, и мама, быть может, тоже – даже меньше, чем когда-нибудь. Наташа вспомнила вдруг, что даже не знает, как это случилось. Нянька что-то говорила: услышала, будто упало что, вбежала, а барыня-то лежит на полу, вся как-то изогнувшись, головой как раз к машинке, и руки в стороне, под креслом, в платье вцепились... Значит, даже возле никого не было, ничего даже не сказала?..

И каждый раз, когда она вспоминала, что в ту минуту никого не было при ней, что она умерла совсем одна, Наташе становилось мучительно больно и горько.

Точно специально все бросили! И она сама... Ее спрашивали на экзамене одну из первых, и если бы она хотела, то давно уже могла бы уйти. Быть может, если бы она вернулась, она бы еще успела застать ее в живых, быть может, тогда бы даже и не случилось этого...

И мысль, что она могла прийти и не пришла, мучила и терзала ее, точно страшный, тяжелый грех. Периодически на нее словно напал столбняк, и она сидела, широко открыв глаза и бессознательно глядя в одну точку. Но как только до нее долетали пониженные голоса и какой-нибудь стук из той комнаты, где явившиеся вдруг откуда-то на помощь няне и Марфуше женщины «убирали» Марью Сергеевну, Наташа вздрагивала и снова все вспоминала. И снова

мысли ее настойчиво возвращались к тому, что она могла прийти – и не пришла... Порой ее охватывало страстное желание узнать все, до малейших подробностей, как это случилось, что мама делала в ту минуту, о чем думала... И вспоминала, что узнать это нельзя уже никогда и ни от кого.

Еще сегодня утром они могли говорить друг с другом, чувствовать жизнь и мысли друг друга; теперь же прошло всего несколько ничтожных часов, и это уже невозможно... Все пережило ее, даже вот этот голубой платок, который она сама связала в начале зимы. Даже этот счет, который она записывала вчера вечером, лежит цел и невредим, на том же самом месте, куда она сама положила его... Думала ли она тогда, что прежде, чем кто-нибудь переложит этот ничтожный клочок бумаги на другое место, она уже перестанет существовать?

И этот клочок счета, и голубой платок, казавшиеся Наташе такими ничтожными, теперь в ее глазах вдруг становились чем-то священным и загадочным, каждая буква и петля в них имела, казалось, свое таинственное, но глубокое значение. Ей так живо представлялась фигура Марьи Сергеевны в сером фланелевом, в мелкую клеточку, капоте, когда вчера вечером она стояла, слегка наклонившись над столом, и писала эту записку своею бледной длинной рукой с тонкими голубыми жилками... Марфуша стояла возле нее и подсказывала ей, сколько и чего записать. И когда она закончила, Марфуша вдруг заметила на ее спине длинную прядку волос, нечаянно не забранную в косы, уже причесанные на ночь.

– Ах, барыня! – сказала Марфуша. – Какую прядку-то оставили! Это вам дорога, куда-нибудь поедете, видно...

Марья Сергеевна подняла руки, достала прядку и пришила ее к остальным волосам.

– Куда уж мне уехать? – отвечала она полушутя, полупечально. – На тот свет разве...

И лицо ее, улыбавшееся в ту минуту с грустной, задумчивой насмешкой, стояло теперь в глазах Наташи, и сам голос ее звучал внутри нее так ясно и живо.

Но чем живее звучал он, тем ужаснее и невероятнее казалось ей, что он уже не прозвучит снова никогда, никогда... И каким все это простым и незначительным казалось ей вчера и каким странным и пророческим стало сегодня!.. Ей вспоминались разные мелочи из прошлой, недавней жизни, какой-нибудь разговор, взгляд, слово, – все всплывало в ее памяти, и все получало теперь другое, какое-то таинственное и странное значение. Ей вспоминалось, что она не успела еще что-нибудь передать матери, например, хоть такой пустяк, что встретила Феню и говорила с ней. Феня обещала прийти проведать барыню и просила кланяться. Все эти дни Наташа забывала передать это Марье Сергеевне; теперь же передавать было уже некому. И это «некому» поражало Наташу своей загадочностью, и она снова с ужасом спрашивала себя: «Неужели же никогда? Совсем, совсем никогда?»

И мысленно силилась понять всю необъятность этого страшного «никогда» и представить себе тот момент, когда оно, может быть, кончится и наступит что-то иное, еще более загадочное и таинственное, чего ум ее не в силах даже представить себе...

Но среди того ужаса и смятения, в котором пребывала душа Наташи, минутами вдруг проскальзывал какой-то светлый луч, на мгновение озаряя ее всю каким-то радостным предчувствием. Но, прежде чем оно сформировалось в ней окончательно, ее уже охватывали стыд и раскаяние за то, что она может теперь, в такое время, ощущать какую-нибудь радость. И, смущенная и негодующая на себя, она старалась насильно заглушить ее в себе, но тихое отрадное чувство все-таки теплилось где-то в самой глубине ее души, смущая ее совесть.

Да, завтра он придет... Завтра...

И ей невольно казалось, что смерть одного как бы принесла собой воскресение другого. То, что случилось, было страшным несчастьем, но это несчастье было бы еще ужаснее, если бы не было «его». И мысль, что она завтра увидит его, невольно наполняла ее счастьем. Под впечатлением первой минуты она телеграфировала ему: «Мама скончалась, приезжай немедленно. Наташа». Она не могла тогда думать ни о чем, кроме того, что «она умерла», и не поду-

мала, что эта телеграмма может слишком сильно подействовать на отца. Теперь же эта мысль пугала ее. Потеряв одну, она невольно сильнее боялась и за другого. Но инстинкт подсказывал ей, что теперь это не будет уже для него таким страшным ударом, каким было бы два года назад. Он уже раньше потерял ее... И в голове ее мелькнула другая мысль, в которой ей было больно и стыдно сознаться себе. «Да, – сказала она себе, – это гадко, но все же это так, и мне... мне было бы гораздо тяжелее, если бы это случилось тогда...»

За эти последние годы столько изменилось, и они все так уже привыкли к горю и страданию, что даже самое страшное не может уже действовать так сильно, как могло бы раньше.

«Да, но, может быть, если бы этих перемен не случилось, – подумала она с горечью, – то не случилось бы теперь и этого!» Она слишком многое перенесла за эти ужасные два года, и они надломили ее, а между тем, если бы жизнь ее шла все так же спокойно и счастливо, как прежде, кто знает, умерла ли бы она еще! И тут он! Во всем, во всем он! Он отнял у них и счастье, и спокойствие, и любовь ее, и даже саму ее жизнь! И ей вдруг вспомнился тот вечер, когда она поджидала его за углом дома и просила его, умоляла, унижалась перед ним, чтобы только он не бросал мать. Она предвидела тогда, что разрыв этот окончательно убьет ее...

И глаза ее снова вспыхнули и загорелись тем недобрый огнем, который всегда появлялся в них при мысли о Вабельском.

Неужели никто не заплатит ему и не отомстит! Боже, как она ненавидит его! С каким бы страстным наслаждением она убила бы его! Желание убить, уничтожить его жизнь так же, как он уничтожил в их семье все счастье, было так сильно в ней, что, если бы он вошел к ней в эту минуту, она бы бросилась на него, не задумываясь ни на одну секунду. И понимание, что она не может ничего, что она даже не знает, где он, возмущало ее еще больше. Она ходила по комнате, ломая свои холодные руки, бледная, как полотно, и только темные глаза горели и вспыхивали страстным огнем...

Вдруг где-то вдали раздался детский плач. Наташа вздрогнула и остановилась.

– Коля!.. – проговорила она вслух с каким-то ужасом и удивлением, как будто этот плач поразил и испугал ее.

За все это ужасное утро она ни разу не вспомнила и не подумала о нем; она как бы забыла его. И теперь это напоминание вдруг встало перед ней со всей своей тяжелой, неборимой силой. Она молча остановилась посреди комнаты, невольно прислушиваясь к долетавшим до нее крикам. Да, вот он! Вот оно! О, не только нельзя отомстить этому ненавистному человеку, но нельзя даже забыть его, вычеркнуть его навсегда и из жизни, и из воспоминаний. И пока будет существовать этот его ребенок, они всю жизнь должны будут помнить его и чувствовать все то зло, которое он причинил им и матери. Вот та связь, которая навсегда свяжет их воспоминанием об их несчастном прошлом. Нет, нет! Этого не будет, не должно быть! Если не для нее, Наташи, то хоть ради ее несчастного отца! Он не должен видеть этого ребенка, чтобы иметь возможность хоть когда-нибудь забыть всю горечь, весь позор и все страдание, которые один раз уже перенес. Неужели ради его ребенка ее несчастный отец должен будет опять мучиться и страдать? Нет, нет и нет! Но куда же его деть? Куда его деть! О, если бы его не было совсем! Отдать куда-нибудь совсем, навсегда, положить ему на воспитание деньги, чтобы он не нуждался впоследствии... У нее есть, она знает, тридцать тысяч от бабушки – на приданое, да еще осталось что-нибудь и от матери, вот эти деньги и отдать ему, все, положить на его имя... Но только чтобы больше уже никогда не видеть, не слышать о нем и забыть, все-все забыть... «Господи, быть может, это грех, прости мне, прости, но я не могу любить его... Грех это – и пусть грех! Но я не могу, не хочу, не должна даже пересиливать себя и заставлять себя любить „его“ ребенка! Его, который убил мать, опозорил отца и разбил все наше счастье, всю любовь... Грех ведь было бы также и убить этого человека, и все-таки я бы убила его, если бы только нашла!.. Боже мой, Боже мой! Да что же мне делать, что же мне делать?! О, научи и помоги!..»

Вся голова ее горела, и ей казалось, что если это продлится еще немного, то она сойдет с ума. И с ужасом она хваталась за голову, ей страстно хотелось заплакать, но слез не было, и только нервная судорога сжимала ее горло...

А Коля где-то все плакал и плакал, и чем сильнее и громче становился его плач, тем мучительнее ныла ее душа...

Дверь в ее комнату приотворилась, и няня заглянула к ней:

– Матушка, барышня, пойдите к Коленьке, нам никому нельзя!

– Что? – Наташа с недоумением обернулась к ней. – Что вам?..

– К Коленьке, говорю, матушка, пойдите, я, как освобожусь, сразу приду. Там молочко и булка есть на столике, покормите его покамест.

Наташа опустила глаза и отвернулась от нее.

– Хорошо... – сказала она тихо, точно с трудом. – Идите.

XVIII

Наташа вошла в Марфушину комнату, куда второпях унесли Колю, и остановилась у кровати.

Мальчик, почти совсем голенький, в одной рубашонке, лежал на постели горничной и громко кричал. От крика у него затекла и даже посинела головка, расстегнутый ворот рубашки был весь мокрый от слез.

Увидев, что к нему подошли, он замолчал на мгновение, но потом, поняв, что это не та, кого он звал, снова заплакал и закричал.

Наташа сумрачно смотрела на него.

Вот они, эти голубые прозрачные глаза, так похожие на «его» глаза...

И она угрюмо стояла, не зная, что ей с ним делать и как его успокоить. При жизни матери она не только никогда не нянчилась с ним, но, избегая его, ни разу не держала даже на руках. И теперь она неумело и застенчиво протянула к нему руки, но он не давался ей и заплакал еще громче.

Наташа с недоумением оглядывалась по сторонам, ища что-нибудь, что могло бы его утешить и успокоить, и вдруг увидела молоко и булку, про которые говорила ей нянька.

Она машинально взяла их со стола и поднесла к нему.

Мальчуган приподнялся и, слегка повернув к ней голову, взглянул исподлобья сначала на нее, а потом на сладкую булку, которую она держала, и, вдруг перестав плакать и только тихо всхлипывая, потянулся ручонкой за булкой.

Тогда она села рядом с ним на постель и все так же машинально подняла его и посадила к себе на колени, чтобы было удобнее кормить его. В комнате было свежо, и она чувствовала, как похолодели его ножки. Одной свободной рукой, боясь пролить молоко и уронить Колю, она достала с постели одеяло и постаралась закутать им его так, чтобы ему было теплее.

Мальчик, по-видимому, озяб и проголодался, и теперь, чувствуя себя в тепле, понемногу совсем успокоился. Болтая ножками, он жадно запихивал в свой маленький рот куски сладкой булки, но вдруг, отломив кусочек, улыбаясь и заигрывая, он залепетал что-то на своем непонятном детском языке, поднося булку ко рту Наташи.

Она неосознанно улыбнулась ему и тихо ответила:

– Кушай сам...

Но он упрямо качал головой и хотел, чтобы она непременно взяла... Наташа взяла его булку и сделала вид, что ест ее. Коля засмеялся, захлопал ручонками и, отхлебнув из кружки молока, смеясь, подтолкнул ее к Наташе, заставляя отпить и ее. Ему, очевидно, нравилось кормить ее, и он сделал себе из этого что-то вроде игры и смеялся, кричал и хлопал ручками каждый раз, когда она отхлебывала из его кружки.

Теплом своего маленького тельца он согревал ее, и, кормя его, она невольно улыбалась ему, ощущая в глубине своей души что-то странное... Его улыбка и та детская требовательная нежность, с которой он обращался с ней, невольно трогали ее и вызывали в ней какое-то теплое и нежное чувство. Но те мысли и ощущения, которые она только что опять пережила в своей комнате, были в ней еще слишком сильны, и, помня их, она специально заглушала в себе эту нежность, как бы насильно борясь с ней. Накручивая себя, она говорила себе: «Да, это „его“ глаза, „его“ лицо, и, когда он вырастет, он будет живым слепком с „него“!» Но, наперекор ее желанию, эти мысли уже не вызывали в ней больше того озлобления и раздражения, как раньше. И каждый раз, как он, улыбаясь, протягивал ей ручонку с булкой, она не находила в себе силы подавить невольную улыбку и ту нежность и жалость к нему, которая все больше и больше поднималась в ее душе.

Но Коля уже не хотел есть и, отломив большой кусок булки, вдруг проговорил, показывая на дверь:

– Мама!

Наташа вздрогнула и побледнела. Она поняла, что он просится к матери и хочет отнести ей этот кусок булки. Ничего не отвечая ему, она только крепче прижала его к себе и тихо поцеловала его мягкие выющиеся волосы на лбу.

Коля, увидев, что она не встает, обхватил ее шею ручонкой и весь тянулся к двери, настойчиво повторяя: «Мама...»

Если бы он знал... Если бы он мог понять, что с его мамой... Глубокая жалость все сильнее охватывала ее, она молча с нежностью прижимала ребенка к своей груди и вдруг заплакала...

– О, мама, мама... – машинально повторяла она за ним, рыдая.

И вдруг будто только в эту минуту она поняла, как сильно любила она его и что потеряла... И то холодное, горделивое отчуждение, с которым она обращалась с ней все последнее время, встало перед ней живым укором и терзало ее мучительным раскаянием и тоской... Ребенок, пораженный ее слезами, глядел на нее испуганными и удивленными глазенками и вдруг заплакал сам громким детским плачем, и, обхватив ее ручонками за шею и целуя, прижался к ней. Наташа чувствовала, что он плачет, целует ее и ласкается к ней, точно хочет утешить.

Ласкает ее! Ее, которая всегда так ненавидела его! Которая порой желала даже его смерти!.. И вот он не умер, но остался один, совсем один, брошенный, никому не нужный... И она хотела его бросить! «О мой милый, милый, бедный мальчик! За что! Только за то, что ты – его ребенок! Нет, нет, неправда, не его, а только ее!» Только это будет она помнить отныне, и то, что со смертью матери у него не осталось никого, никого, кто заботился бы о нем и любил бы его... Нет никого!.. И он же, маленький и беспомощный, не понимающий ни страдания, ни горя, ни ненависти, ласкается к ней, целует и утешает ее... За то, что она же хотела бросить его, избавиться от него навсегда...

– О нет, никогда! Прости меня, прости!

И, горячо целуя его, она страстно шептала ему:

– Не бойся, не бойся, моя крошка, мальчик мой, я не брошу тебя... Нет, нет, я твоя теперь, вся твоя, на всю жизнь твоя...

И она горячо и нежно прижала его к себе, точно защищая от чего-то, и осыпала его поцелуями...

XIX

Маленький Коля, будто инстинктивно, понимал свое сиротство и то, что все заключается для него теперь в одной Наташе. За один день он так привык к ней, что начинал плакать и рваться к ней, как только кто-нибудь другой хотел взять его на руки. Он привязался к ней с

той быстротой и инстинктивной любовью, на которую способны только маленькие дети, призывающиеся порой за один день к понравившейся им няньке.

Эта любовь еще больше действовала на впечатлительную Наташу. Когда Коля, прижимаясь к ней, обнимал ее шею своими пухленькими теплыми ручонками, смеясь и что-то лепеча, гладил и целовал ее лицо, ей вдруг делалось так отрадно, и она улыбалась ему какой-то особенной, до сих пор не свойственной ей улыбкой и нежно целовала его в большие светлые глаза. Она не чувствовала уже того ужаса, отчаяния и тоски, которые терзали ее утром. На душе ее была только тихая, спокойная грусть и то ясное отрадное чувство, которое впервые охватило ее в ту минуту, когда Коля прижался к ней и заплакал. Она сама уложила его на ночь спать, и он не выпустил ее руки, пока не заснул. Так делала, бывало, Марья Сергеевна, и, зная это, Наташа держала его маленькую руку с особенным чувством, как бы радуясь, что она заменяет ему ту, которой уже нет и из ревности к которой когда-то так ненавидела его самого.

Почти всю ночь она просидела в детской, чутко прислушиваясь к его дыханию, тревожно вскакивая при каждом его движении, и, подходя к нему, глядела с задумчивой лаской в его спящее, раскрасневшееся личико.

Когда она вспоминала, что Павел Петрович еще не знает ничего о том, что она решила по поводу маленького Коли, ее охватывало тревожное сомнение.

Быть может, ему будет слишком тяжело и неприятно исполнить ее решение?.. Быть может, она не смеет, не должна даже просить его об этом?

Она знала, что он согласится, но только боялась, что это будет ему больно и трудно.

И ей снова делалось так мучительно больно, тяжело и тоскливо, что она опять начинала страстно и горячо молиться.

– Господи, помоги ему... Помоги ему полюбить его... Вложи, Господи, в его сердце ту любовь, что вложил в мое...

И с горячей верой она вглядывалась в лик Спасителя и верила, что Он ей поможет...

Через комнату от нее слышались монотонные голоса монахинь, читавших над покойницей Псалтирь, и, проходя мимо незапертых дверей, она видела возвышавшийся на столе белый гроб с обрисовывавшимися в нем неясными контурами тела, закрытого кисеей и покровом, и слабо мерцающие возле него высокие свечи.

Осторожными тихими шагами, боясь разбудить ребенка, вышла она из комнаты и молча, с грустной задумчивостью вглядываясь в лицо матери, опустилась на колени у ее гроба. И ей казалось, что в этом спокойном восковом лице, прекрасном мертвой торжественной красотой, она видела тот же мир и то же спокойствие, которые настали и в ее душе.

«Ты веришь мне, дорогая? – мысленно спрашивали она с тихими радостными слезами. – Верь своей Наташе и не бойся, ему будет хорошо...»

И она с благоговением целовала мертвую руку матери и говорила ей, как живой, страстно веруя, что она видит и слышит ее:

– А меня прости за все... За все... И люби меня там так же, как ты прежде, здесь любила свою Наташу...

Из глаз ее катились слезы и, падая, впитывались в тонкое кружево и кисею, покрывавшие грудь Марьи Сергеевны. И, уходя из этого мира, она как бы уносила с собой слезы и любовь своей дочери...

XX

Когда на следующее утро приехал Павел Петрович, Наташа только-только одевала проснувшегося Колю. Она сидела на стуле, придерживая его одной рукой, а другой надевала ему башмачки. Войдя в ее комнату, Павел Петрович увидел сразу их обоих. Услышав шаги,

Наташа обернулась, вдруг вся вспыхнула, просияла и, быстро подняв Колю, но не спуская его с рук, рванулась навстречу отцу.

Но маленький Коля, увидев незнакомого высокого человека в большой меховой шапке и шубе, вдруг испугался и, откинувшись в сторону, закричал и заплакал, пряча головку на плече Наташи. Наташа, взволнованная, остановилась на мгновение посреди комнаты, не зная, что ей делать: оставить Колю и броситься к отцу или успокоить сначала ребенка. Она тянулась одной рукой к отцу, а другой – крепко прижимала к себе плачущего Колю.

– Не надо... Не надо... – радостно шептала она ему, утешая и успокаивая его. – Это папа, Коля, папа!..

Ее душа в эту минуту была так полна восторгом и любовью, оба этих существа казались ей такими близкими и дорогими для нее, что, как бы чувствуя полное единство между собой и ими, она невольно соединяла и их, забывая все, что их разделяло. Павел Петрович, боясь еще больше испугать ребенка, молча, со счастливым и ласковым лицом стоял в дверях, не решаясь подойти ближе, и с каким-то нежным удивлением глядел и на Наташу, и на маленького Колю, прижимавшегося к ее груди.

Вместе с ней он машинально, с улыбкой повторял кричавшему и не дававшему им даже обняться мальчугану:

– Не надо, не надо...

Успокоившийся, наконец, Коля поднял свою кудрявую головку с плеча Наташи и сбоку, сердито и недоуменно разглядывал Павла Петровича.

– Он такой дикий... – торопливой скороговоркой говорила Наташа, блестя счастливыми глазами, и вдруг, рванувшись вперед, быстро приклонила его голову ближе и осыпала, смеясь и плача, страстными поцелуями его лицо и руки.

Радость их свидания была так велика, что в первую минуту они даже забыли, что заставило их свидеться. Но когда они хотели заговорить, оба вдруг вспомнили это, и им обоим стало совестно за то, что они могли это забыть.

И лица их стали серьезными и печальными, и все те слова, которые они только что хотели сказать друг другу, пропали вдруг и уже казались им неуместными и пошлыми.

Наташа первая заговорила тихим и робким голосом:

– Ты видел?..

Она не спросила прямо, что он видел, но знала, что он поймет ее и что говорить прямо им обоим будет еще больше и тяжелее. Павел Петрович молча кивнул и, отведя глаза от дочери, задумчиво, но неосознанно взглянул на Колю. Коля совсем уже успокоился и, по-видимому, примирился с ним и уже тянулся с рук сестры к цепочке и брелокам Павла Петровича.

– Как это случилось? – спросил Павел Петрович, все еще не глядя на дочь.

Наташа вдруг вспыхнула и слегка отвернула лицо.

– Я не знаю... – заговорила она смущенно. – Меня не было... Я была в гимназии... – прибавила она, как бы поясняя. – А когда пришла... Все было уже кончено... – договорила она тихим упавшим голосом.

И они снова оба замолчали, машинально следя, как Коля тянулся к брелокам, но думая совсем о другом...

– Буль-буль, – залепетал вдруг Коля, поднимая глаза к лицу Павла Петровича.

Он все игрушки называл «буль-буль» и теперь, принимая брелоки за игрушки, тянулся к ним, желая непременно достать. Павел Петрович улыбнулся той слабой, рассеянной улыбкой, которой взрослые часто машинально улыбаются детям, почти не думая о них в этот момент.

Но Коля, видя, что Павел Петрович не обращает внимания на его просьбу, повернулся вдруг к Наташе и, обхватив ее лицо своими ручонками, настойчиво повторял ей «буль-уль».

Наташа застенчиво и робко взглянула на отца.

Павел Петрович все с той же задумчивой улыбкой отстегнул цепочку с часами и, отдав ее Коле, молча смотрел на него.

А Наташа, вдруг вспомнив, что отец не знает еще ее решения, крепче прижала к себе Колю и, склонив к нему свое лицо, тихо поцеловала его.

Павел Петрович серьезно и даже угрюмо глядел на него...

Наташа молча подняла на него свои глубокие темные глаза.

– Папа... – начала она тихим, печальным голосом.

Павел Петрович вдруг опустил голову и глаза.

Наташа еще ближе придвинулась к нему и положила руку на его руку.

– Возьмем его... себе... – заговорила она все так же робко и застенчиво. – Он не виноват...

И вдруг ей вспомнилось, как год назад эти же слова сказала Марья Сергеевна ей, Наташе. И тогда она не верила этому и не хотела, не могла найти в своей душе доброго чувства к этому ребенку. И вот теперь она сама просит об этом отца...

Она еще нежнее сжала его руку и, мучительно томясь, ждала, что он ей скажет...

Видя, что он молчит, она заговорила опять, не спуская с него печальных просящих глаз:

– Прости ее, папа...

Павел Петрович приподнял голову и слегка пожал ее холодную, дрожащую от волнения ручку.

– Я уже давно простил ее, Наташа... – сказал он грустным и глухим голосом.

– Так для нее... Я обещала ей... Папа, у него никого нет... никого...

Голос ее дрожал и прерывался. Павел Петрович сумрачно молчал, глядя на них исподлобья, и вдруг в лице его что-то дрогнуло, и светлые точки заблестели в его глазах. Он молча прижал к себе Наташу и поцеловал ее долгим, крепким поцелуем.

Он ничего не ответил, но по лицу его и глазам она все поняла и, вся засияв счастьем и радостью, вдруг кинулась к нему на грудь и зарыдала.

Павел Петрович тихо и нежно прижал к себе ее голову, нежно и молча целовал, а она плакала, прижимаясь к нему, и все лицо ее было в слезах, а на душе ее было так светло и легко...